

ЮРИЙ ИОФЕ

Стихи
+
проза

СБОРНИК № 1

Юрий Иофе

СТИХИ + ПРОЗА

Юрий Иофе

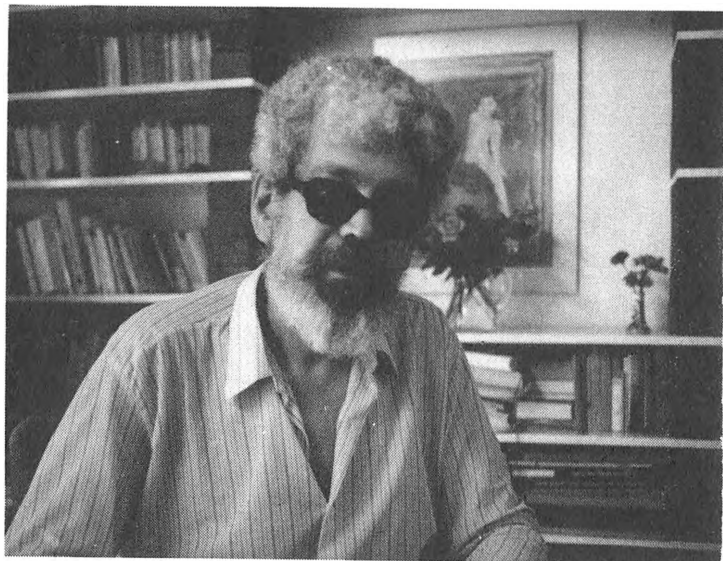
СТИХИ + ПРОЗА

Сборник № 1

Из книг «Итак, итог» и «Вне России»

**Обложку сделал художник
Адам Русак**

**© by Autor, 1982
Frankfurt am Main
Printed in Germany**



Юрий Иофе, 3. 7. 1974 Хофхайм

Тане Хромовой,
милый Тане с крестом.

Автор

КОЕ-ЧТО О СЕБЕ

Я — Юрий Матвеевич Иофе (через одно «ф»). Родился в Харькове, в 1921-ом году, т. е. вскоре после Великой Октябрьской Катастрофы. Детство прошло в Москве, на Большой Ордынке. В 31-ом моего отца арестовали как не очень крупного вредителя в текстильной промышленности. Время тогда было гуманное: после 16-ти месяцев пыток на Лубянке, в Лефортове и Суздальском изоляторе мой отец получил всего 5 лет ссылки в Новокузнецк (Зап. Сибирь). В 32-ом мать с детьми поехала к отцу, так что моё отрочество прошло в Сибири. С 36-го мой отец, опасаясь повторного ареста, то и дело менял места жительства: Мариуполь, Рыбинск и далее — уже без меня — Богословск, Нижний Тагил, Ленинград.

По профессии я математик. В России (в Москве) работал преподавателем (в школе, техникуме, институте), научным сотрудником, редактором физико-математической литературы (в последнем амплуа выступал и в Германии, — немецкий — мой 2-ой родной язык).

В армии служил: пошел добровольцем в январе 42-го, некоторое время пробыл в Военно-Воздушной академии, был отчислен за недисциплинированность, отправлен в штрафбат, выкабался, очутился в 18-ой Воздушной Армии (радиотехником).

В тюрьме не сидел (неизвестно, почему). В концлагере не был (тоже неизвестно, почему).

Женат на Надежде Шатуновской. (В отличие от меня, она сидела, правда, не в советском концлагере, а в нацистских заведениях: была медсестрой на фронте, попала в плен под Вязьмой.)

В мае 72-го я вылетел из марксистского рая и, наскоро заскочив в Израиль, обосновался в Германии, во Франкфурте-на-Майне. Моя семья (жена, дочь, зять, внук и внучка) приземлились в Вене только в сентябре 78-го года; теперь все они в Париже. Моя дочь Ольга, к слову будь сказано, очень способная: сумела сесть в 19 лет (Лефортовский изолятор, Казанская психотюрьма, — см., например, мой поэтоочерк «Семь раз Казань» в «Гранях» № 92-93).

Что касается изящной словесности, то в СССР я сделал поистине головокружительную карьеру: напечатал 24 переводных стихотворения (с немецкого, французского и идиш) и 3 собственных (одно в 14 лет в газете «Большевицкая сталь», два — в преклонном возрасте в альманахе «Фантастика»).

В самиздат я свои творения — с целью их распространения — никогда специально не пускал, — более того, я относился скорей неодобрительно к тому факту, что они без моего ведома размножались в седьмых и десятых копиях — с неизбежными

искажениями. А чего я, собственно, ожидал, щедро раздаривая свою литпродукцию многочисленным друзьям и подругам — еще с довоенных лет?

В 60-ые годы в помощь уценённым «эрикам» и антикварным «ундервудам» появились гробоподобные магнитофоны, новинки советской техники, и моя всенародная известность возросла: думаю, в Москве у меня стало не менее 50-ти читателей-слушателей, да еще человек по 15 в Ленинграде, Риге, Тбилиси и Воронеже.

Во времена недолгого и весьма сомнительного послабления я отправил объемистую рукопись — но не в столичные совписы и худлиты, а в Ярославское книжное издательство: подобный обходной маневр был тогда в моде, кое-кому он помог; у меня сорвалось.

Впритык к моему отъезду из России нам нанесли очередной визит любители художественной литературы из КГБ и прихватили на память все наличные экземпляры моей машинописной книги «Итак, итог».

Но существовали и другие экземпляры, которые я своевременно посеял «на просторах Родины чудесной» (как вдохновенно пелось в радостной песне о великом Друге и Вожде). Один из этих потайных экземпляров моя жена переправила мне из Москвы в Иерусалим через Нью-Йорк — кратчайший путь в наше прогрессивное столетие.

На Западе я опубликовал около сотни стихов и немного прозы, всё — в периодике. Книгу издать не могу: нет денег.

А вот в Москве в свое время мою книгу обнародовали, правда, другую: «Задачник по высшей математике». И КГБ не возражал!

Париж, 11. 4. 79

ДАЛЬНЕЙШИЕ УСПЕХИ

За истекшие 2 года я напечатал еще с полсотни стихов (стал вхож в журнал «Время и мы») и поэтоочерк «Берлин 1980» (в «Гранях» № 119), но главное — ввязался в газетную свару, что создало мне в Париже некоторую скандальную известность — всё же лучше, чем ничего.

А в этом году я всё-таки решил — в связи со своим шестидесятилетием — дебютировать сборником стихов и худпрозы: самое время!

И вот он перед вами, этот сборник.

Судите — но и судимы будете!

Франкфурт-на-Майне, 8. 7. 81

Юрий Иофе

СТИХИ ИЗ КНИГИ «ИТАК, ИТОГ»

1. ОСЕНЬЮ 1940-го ГОДА

Мутный день просочился скупю,
Осветил осеннюю высь.
Небосвод, как цинковый купол,
Над сумятицей улиц навис.

Репродуктор завыл, зевая, —
Искры треска и стон антенн.
И звонки, подгоняя трамваи,
Расшибались о камень стен.

Там, в стенах — вековая работа.
Там, в стенах — вековая тоска.
Из газеты на сером фото
Неподвижно идут войска.

На углу — милицейский окрик,
Пьяный крик — и опять свисток.
Город вертится, грузный и мокрый,
Шелестит электрический ток.

И блестит, ускользнув из ритма,
Из бессмыслицы остальной,
Синевато-острая бритва —
Как намёк, как намёк стальной.

Москва, окт. 40

2.

Есть души, большие, как эпос,
Сияющие голубым.
Обыденная нелепость
Симфонией кажется им.
Они не желтеют от желчи,
Не старятся в сумерках дня.
Но есть и другие, помельче:
Такие, как у меня.

Москва, весна 44

3.

Трамвай выходит из депо.
Бледнеют фонари.
Страшнее снов Эдгара По
Предчувствие зари.
Кристаллизуются дома
Из тьмы и тишины.
Быть может, я схожу с ума.
Быть может, вижу сны.
Какая пакостная гнусь
В холодной голове!
Раскрою дверь — и растворюсь
В рассветной синеве.
Ни на кого не оглянусь,
Сейчас пойду и утоплюсь
В неведомой Неве.
Фонарь — меня бросает в дрожь! —
Он с виселицей схож.
И дворник на углу с метлой
Стоит, как смерть с косой.
И каждый дом — семейный склеп,
Застыл, угрюм и слеп.
Повсюду смерть.

Ленинград, 46

4. ОМАРУ ХАЯМУ, НА ТОТ СВЕТ

А

Мгновения — снежинки. Вечность — снег.
А время — ветер. Где же человек?
Во тьме, в ночи друг друга окликают
Одиннадцатый и двадцатый век.

Б

Ты поглядел на те же облака.
Напился из того же родника.

Прошел по той же сумрачной дороге,
Где я иду. Дорога далека.

В

Эпоха — глубочайшая из ям.
А мы с тобой пируем по краям.
Но через яму не протянешь руку,
И невозможно чокнуться, Хаям.

Москва, 50

5.

Атлантида гниёт на дне.
Океан зарастает илом.
Славный Рим отпылал в огне,
Серый пепел летит над миром.

Для всего наступает срок.
Распадается всё на части.
Но приходит новый пророк,
Обещает новое счастье.

Москва, лето 51

6.

20-ый век — жестокая страда
В преданиях планеты сохранится.
Отсюда — начиналась заграница.
Чужой язык. Чужие города.

Чужая даль. Сырой приморский воздух.
И небо, точно серая шинель.
Солдаты спят в сгущённой тишине,
На кладбище в пятиконечных звёздах.

Конью (Эстония), лето 52

7. АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ЛАВРА

Призрак Солнца освещает скупо
Облака и монастырский купол.

Полдень тих. И бесконечно грустно
Проходить некрополем искусства.

Ты внимай, забыв о скверной злобе,
Каменной симфонии надгробий.

Только той симфонии не слышно.
Ничего с бессмертием не вышло.

Ленинград, лето 52

8. КУРОРТНЫЙ ПЛЯЖ

Курортный пляж впритык покрыт телами:
Сплошь груди, бёдра, животы, зады.
А Солнце с недоступной высоты
Льёт ультрафиолетовое пламя.

Мы бросили насущные дела,
Пересекли огромную Россию —
И здесь, на пляже, солнечную силу
Накапливаем в бледные тела.

Матрос в отставке, полный благородства,
Старик-привратник, к будке прислонясь,
С презрением обзревает нас:
Передвижную выставку уродства.

Лежу на пляже, Солнцем опалён.
А рядом в море — ласковость и лёгкость.
Но, раздеваясь, чувствую неловкость,
Поскольку я — увы! — не Аполлон.

Анапа, лето 54

9. В ПОЕЗДЕ

Крестьяне смачно ели сало,
А горожане — колбасу.
Вагон размеренно качало,
Бряцала сцепка на весу.

Жевали анекдот тяжёлый,
Спор о политике вели.
Мелькали города, и сёла,
И степи синие вдали.

Судили об озимом севе,
Угомоняли детский крик.
Почтовый поезд шёл на Север,
Пересекая материк.

У каждого свои заботы
И обстоятельства свои.
У каждого свои работы
И обязательства свои.

Тот — от беды, а тот — к успеху,
Тот — от суда, а тот — на суд.
А мне неважно. Мне не к спеху.
Мне всё равно, куда везут.

Поезд «Одесса-Ленинград», авг. 54

10.

Я тёмный трюм не набивал рабами.
Я их не вёз в неволю, на убой,
Чтобы продать на рынках в Алабаме,
Как мой предшественник Артюр Рэмбо.

Из-за меня несчастные не гибли,
В туземцев я не посылал снаряд;
Как мой собрат, жестокосердый Киплинг,
Я не водил карательный отряд.

Я прожил жизнь без мускульных усилий,
Капризный и непризнанный поэт.
В глубинах однокомнатной России
Писал стихи и не читал газет.

Итак, итог. Невозместим убыток.
И не помочь, коль к 35-ти
Я заблудился в закоулках быта
И сбился окончательно с пути.

Москва, 56

11.

Белый свет засыпан белым снегом.
От Луны тоскливо и светло.
И каким-то безымянным веком
Белое беспмятство легло.

В зимних переулках очень тихо.
Белый снег синее при Луне.
Будто все скончались после тифа
Или все убиты на войне.

Свет Луны, безжизненный и постный,
Заливает безысходный снег.
Очень холодно и очень поздно:
3-ий час утра, 20-ый век.

В глухоту, к варягам, к печенегам
По снегам уходит древний след.
Белый свет засыпан белым снегом.
Белый снег засыпал белый свет.

Москва, зима 56

12.

Как будто приснился на миг —
И вот исчезает за мысом
Чудной городок Геленджик,
Что в памяти бегло записан.

Идёт теплоход напролом,
Простор под себя подминая.
Полуднем, как жидким стеклом,
Облита природа немая.

Мне берега море милей,
И я вспоминаю не очень
О милой хозяйке моей,
Любимой в течение ночи.

Но сколько таких городов
И сколько случайных хозяек
Возникнут, как пятна мозаик,
На темном исходе годов?

Джубга (Сев. Кавказ), лето 56

13. ВСТРЕЧА В СУХУМИ

Старику порядком за сто.
Но в глазах играет прыть.
И еще не сделан заступ,
Чтоб ему могилу рыть.

Бородою Черномора
Не кичится предо мной
Этот житель Черноморья,
Человек земли иной.

Мы сошлись в одном духане
За полдюжиной вина.
Было море, как дыханье.
Колыхалась глубина.

Гомонил курортный город,
Золотился знойный свет.
Ну а мне ещё не 40,
То ли будет, то ли нет.

Кабы выплыл вновь в верховья
Мутной речки бытия, —
Не писал бы век стихов я,
Не трепал бы душу я.

Я бы создал прочный базис:
Горы, звёзды, сыр и хлеб.
Я бы жил, как тот абхазец:
Чисто, честно, сотню лет.

Сухуми, лето 57

14.

Метель метёт.
И мир не тот,
Каков на самом деле.
Снега идут.
И там, и тут
Метёт метла метели.

Метель мутит,
На нас летит
И замедляет дали.
И в маяте
И мы не те
На самом деле стали.

Москва, зима 58

15. ДЕКАБРЬ

Скрыли белые заносы
Пестроту людей и стран.
Красным глазом альбиноса
Смотрит Солнце сквозь туман.

Нас накрыло полусферой —
Бледной, плотной, как асбест,
Придавило этой серой
Мёртвой тяжестью небес.

Я иной земли не видел.
Но в пивной один моряк
Всё твердил, что на Таити
Всё устроено не так.

Москва, дек. 58

16.

Дни мои толкутся, как на рынке — люди.
Дни толпятся, уходя в туман.
Под названьем «Завтра ничего не будет»
Я купил переводной роман.

Ядерная бомба Землю не погубит,
Не поглотит чёрная дыра.
Кто сказал, что завтра ничего не будет?
Завтра — будет. То же, что вчера.

Москва, зима 59

17.

Мне не поднять лица измятого.
А за окном дымят дома.
Москва. Январь 60-го.
Тосклива тусклая зима.

Пусты обглоданные скверики,
Где оголтели воробьи.
Да на расхлябанной Москве-реке
Чуть зеленеют полыньи.

Сгустится вечер. В город спустится
Неслыханная тишина.
Естественная наша спутница,
Взойдёт старинная Луна.

Я душу мучил и изматывал
В сплошном бреду, в ночном дыму.
И вот теперь лица измятого
На трезвый мир не подыму.

Москва, янв. 60

18. Я В ТБИЛИСИ

Всем проклятым поэтам
Это будет понятно.
Я хожу по Тбилиси
Туда и обратно;
И грызу впечатленья,
Как собака — объедки,
К заготовленным рифмам
Подбирая объекты.
Всё мне странно и ново,
Непонятно и дико,
Даже небо Востока
Цвета краски индиго,
Переулки, слепые
В ослепительном свете,
Завитые, как буквы
В грузинской газете.
Право, здесь неуместна
Европейская маска!
Вот и ночь наступает,
Как арабская сказка.

Ну а я наблюдаю
Всё от глубины до выси,
Исступлённо рифмую
И хожу по Тбилиси.
Всё живое помято
В сумасшествии этом.
Впрочем, это понятно
Проклятым поэтам!

Тбилиси, лето 60

19. ДЫМ

Крематорий дымит по-фабричному густо.
Подымается дым к небосводу ползком.
Всё кончается здесь: и любовь, и искусство —
Всё кончается дымом на 5-ом Донском.
Крематорий дымит. И тяжёлый и острый
Расползается дым в поднебесье Москвы.
Он вползает в меня через уши и ноздри
Вместе с духом авто и дыханьем листвы.
Крематорий дымит. Видишь, снова и снова?
Дым ещё не растаял, ещё не остыл.
И за дымом безликим следит из бывшего
Обречённый на вечность Донской монастырь...
Так чего ж я хочу от тебя, от эпохи?
Неудача гнетёт? Честолюбье томит?
Разве я не видал в городской суматохе,
Как на 5-ом Донском крематорий дымит?

Москва, осень 60

20.

Быть может, скитаясь путями исканий,
Умру у подножья счастливых годов.
Посмертные томики синих изданий
Поставит на полку любитель стихов.

Раскинется город таинственной сетью —
Ни Рига, ни Прага, ни Рим, ни Париж.
И сумерки 3-го тысячелетья,
Синея, повиснут над скатами крыш.

Но будут, как прежде, оранжевы зори
И так же, как прежде, тревожны сердца,
И будут гореть в человеческом взоре
Всё та же надежда и ужас конца.

И будут всё те же концы и начала,
И в небе разбрызгана звёздная ртуть.
И кто-то похожий пойдёт, отмечая
Моими стихами, как веками, путь.

Москва, 61

21. ОДИНОЧЕСТВО

Огни мерцают на далёкой пристани
И тлеют искрами по склонам гор.
Под пеплом тьмы вечерний город издали
Похож на затухающий костёр.

Солёной синью темнота насытилась,
Восток и Запад спрятались в туман.
Луна серебряным песком осыпалась
В холодный высыхающий лиман.

И на песках разрушенного берега,
Забывшая о солнечном тепле,
Как искра в темноте, душа затеряна
На этой умирающей Земле.

Дальние Камыши (Крым), лето 62

22. В МУЗЕЕ

Георгию Журавлеву

Застыл окаменелый запах,
Как выдох призрачных времён,
Где напоказ в музейных залах
Скелет столетий оголён.
Кругом — осколки древней драки,
Остатки мёртвых берегов.
И словно отсвет в полумраке —
Беззвучный хохот черепов.

Херсонес (Крым), лето 62

23. ИНЕЙ

Солнце светится в блеклом дыме —
Гибрид фонаря и дыни.

В парках и на бульварах
Оледенели деревья.
Подобно странным скелетам
Каких-то древних животных
Окаменели деревья.

Иней, повсюду иней.
А в инее — всё иное.
Иней на статной даме
И на высотном доме.
В инее, в синем дыме,
Тонет земное Солнце,
Тянется зимний день.

Москва, зима 63

24. СКЕЛЕТЫ

Кто видит мир в лучах Рентгена,
Того преследует картина,
Неаппетитная картина,
Пренеприятная картина:

Работающие скелеты,
Обедающие скелеты,
Дерущиеся скелеты,
Целующиеся скелеты.

Хорошо, что эти скелеты
Скрыты платьем и плотью одеты,
Вплоть до смерти плотно одеты
Отвратительные скелеты.

Люди, люди, братья по крови!
Не срывайте с себя покровы!
Прячьте души свои и чувства
В плоть обычаев, в платье искусства!

Москва, зима 63

25. ЭСТОНСКИЕ СТИХИ

А. Общий вид города Таллина

Улицы, узкие, как ущелья,
Ощерились башнями.
Неужели я
Попал в столетье поза-поза-позавчерашнее?
Позабывтое, точно снег позапрошлой зимы?
И твердит, будоража умы,
О бессмертье и смерти
Звонкий гул,
Гулкий звон
Евангелической церкви.

Однако в узких, как ущелья, улицах города Таллина, у подножья Длинного Германа и Толстой Маргариты, расположились не Олайская гильдия и не Братство Черноголовых, а кафе, книжные и парфюмерные магазины, редакции газет и другие вполне современные учреждения, включая КГБ.

В этом городе был я
С задумчивостью на челе.
Карабкался бодро по Пикк-Ялг,
Которой тысяча лет.
По этому городу я бродил,
По серым ступенькам времён.
И что позади? И что впереди?
Всё только — каменный сон.

Прошлое не умерло: оно соседствует бок о бок с настоящим. Из крепостных бойниц изливаются последние известия, меж готическими зубцами проветриваются нейлоновые колготки. Эта анахроничность придаёт городу особое очарование.

Кто-то спутал столетья движеньем неверным.
Кто-то дни стасовал, как игральные карты.
И упрямо глядят Маргарита и Герман
За Балтийское море, где стынут закаты.

Б. Хаапсалу днём и ночью

День — как жёлтое ожиренье.
Ночь — как синее истощенье.
Носят женщины ожерелья
Неподдельного восхищенья.
Загорают на пляжах модницы
У цветных павильонов.
Розовеют на солнце задницы
Городских павианов.
А над Старою гаванью
Говор, гомон и гавканье.

Но кончается день.
Айда в замок смотреть привиденье!

В замке мрачно, как в пещере,
Застоялась тишина.
Сквозь готические щели
Льётся полная луна.
Мы ввалились в мёртвый замок,
Как в бесплатное кино.
И уставились упрямо
На церковное окно.
Тише! Призрак Белой Дамы
Входит в чёрное окно.
Кто такая эта Дама?
Что белеет там, внутри?
Может, жертва феодала
Или пагубных интриг?
Или скверная колдунья,
Или верная жена
В переливах полнолуны
На стекле отражена?
Шевелится в лунном свете
И видна со всех сторон
Сквозь туман семи столетий
Дама рыцарских времён.
Вот склонилась к подоконнику
В платье призрачного цвета.
Молча смотрим кинохронику
13-го века.

А потом своей дорогой
Мы уходим по домам.
Мы идём своей дорогой
Обнимать реальных дам.
Мы идём по лунным лужам,
По колено в голубом.
И не помним, и не тужим
О былом.

Таллин-Хаапсалу, лето 63

Юрию Кривцову

Давно ли сгинул
Дилижанс?
Столетье дыма.
Рассветный час.
Пропасьть, прочерк
Прошлых лет.
Окисью ночи
Синь рассвет.
Мы — иные.
Душа — дюраль.
Но и ныне
Стремимся в даль.
Мечем гордо
Гарпуны
В ломкую, мёртвую
Плоть Луны.
Анализируем —
До поры!
Анатомируем
Антимиры,
С телевизоров
(Все бы сжечь!)
Слизываем
Голубую желчь.
Синь рассвета.
Зари накал.
Или это
Горит напалм?
Сверхбезумие.
Архибрэд.
Давно ли умер
Архимед?

Москва, зима 65

27. КЕНИГСБЕРГ 1968

А

Известно всем, что наша жизнь — игра.
Что гибели былое не избегло.
Другая власть выходит на парад.
И косорыло прёт Калининград
Из ледяных кварталов Кенигсберга.

Проходят будни в будничных делах,
И мёрзнет жилотдел в кирпичной кирке.
Другие ордена на кителях.
Другие имена на площадях.
Другие номера. Другие бирки.

А вроде дни идут одни и те ж,
И не с чего б, казалось, измениться.
А поглядишь, невежда из невежд,
Ты — упразднён. Как звательный падеж.
Как ижица. Как тезоименитство.

Б

Как будто сороковые вижу.
Торчат прошедшие годы, как пни.
Саженный шрифт на сожжённой бирже:
Wir kapitulieren nie!

Военный город. Военный запах.
Ощерился в небо кирпичный скелет.
Навис несусветный Вильгельмов замок
Несметной грудой немецких лет.

Легенды и люди, мы все стареем.
Снежок присыпает прежние дни.
Кругом пустыри проросли пыреем:
Wir kapitulieren nie!

Я полон чёрными сороковыми.
А Прейгель струится и каждый миг
Уходит чёрными рукавами
В янтарное море, в вечность, в миф.

Кенигсберг, янв. 68

28. ЛУНА НАД АВТОСТРАДОЙ

Луна над автострадой
Висит наискосок.
И ветер полосатый
Пронзительно жесток.

И наплывают тенью
Вплотную с двух боков
Деревья-привиденья
Из пройденных веков.

А там, в дали покатоЙ,
Не прикрывая век,
В огнях пансионата
Дрожит 20-ый век.

И буквой иностранной
В пучинах тишины
Висит над автострадой
Дорожный знак Луны.

Пирогово (Подмосковье), лето 68

29.

Тает, тускнеет Солнце.
Город в вечерней ретуши.
Тонет земное Солнце
Наискосок от ратуши.
Что это? Рига? Прага?
Я не припомню, право.

Правда воспоминаний.
Или — другая правда.

Москва, весна 69

30.

Средневековая нелепица
Ещё стояла, как стена.
Но любопытный Сатана
Заглядывал в тетради Лейбница.
И белизна материков
Ещё была почти нетронута.
Но Запад вылезал из омута,
Скользя по стыку двух веков.
Теснилась тёмная Германия
Среди готических камней.
Но интеграл, как мудрый змей,
Вползал на дерево познания.
И шевелился тошный миф
В утробе матери-истории, —
И потешался над устоями
Полумонах, насмешник Свифт.

Москва, весна 69

31.

Я сижу за чекушкой.
За окном — этажи.
Размоталась катушкой
Эта жизнь, эта жизнь...
Всё отчётливей, резче
Проступают вдали
Все разлуки и встречи,
Все бывшие любви.

За московской чекушкой,
За грузинским чайком

Я гляжу равнодушно
На пейзаж за окном.
Не Якир и не Киров,
Не попал на прицел,
На обочине мира
Я под старость присел.

И сижу за чекушкой,
И в окошко гляжу.
Город скученный, скучный,
Всё этаж к этажу.
Путь мой горек и долог
По таким городам.
Ни за рубль, ни за доллар —
Ничего не продам.

Москва, осень 69

32.

Небо тяжкое, стопудовое,
И облезлая осень мертва.
Здравствуй, лагерная Мордовия,
Замордованная мордва!
Пахнет падалью ветер Севера,
И торчат из грязи вразброс
То осина, иудино дерево,
То кривые скелеты берёз.
Кособокая, необутая,
Плачь, Мордовия, день и ночь.
Злою проволокой опутанная,
Не помочь тебе, не помочь...
И бредут-ползут жёны вдовы,
Старики ползут к сыновьям —
По Мордовии, по Мордовии,
Уподобившись муравьям.
И не спится мне ночью чёрною
Возле лагерной проходной.

Ах, Мордовия, заключённая!
Ах, Мордовия, край родной!

19-ый лагпункт (Мордовия), осень 71

33.

Не знаю, легко или трудно
К стране прилепиться другой.
Как в детстве, МОГЭС пятирубный
Дымит над Москвою-рекой,
И так же Ордынка щербата,
И так же Татарка темна,
И красную заводь заката,
Как в детстве, видать из окна.
Сегодня, вчера и когда-то,
В безумье, в смятенье, в тоске,
Студентом ходил и солдатом
По этой, по самой Москве.
И, видимо, стыдно и странно,
Что я не осилил беду,
Что в дальние вольные страны
Теперь без оглядки бегу.

Москва, зима 72

34.

Запах детства, запах ёлочный,
От мороза воздух розов.
Дымно в городе и солнечно,
30° мороза.

Шубы, шапки, шали, варежки,
Но душа насквозь промёрзла.
Потому-то я, товарищи,
Ухожу, хотя и поздно.

Здесь полвека бегло пройдено,
Путь запятнан и запутан.
Ах, Москва, чужбина-родина!
Ничего я не забуду.

Только знаю, южной полночью,
В апельсиновой аллее
По Москве морозно-солнечной
Не заплачу: не сумею.

Москва, зима 72

СТИХИ ИЗ КНИГИ «ВНЕ РОССИИ»

1.

Пусть Россия черна, не бела.
Но какой бы она ни была, —
Только в ней для меня белый свет,
Ибо вне — и дыхания нет.
Что мне блеск чужеземной страны?
Плотный плеск средиземной волны?
Кипарисовый рай во дворе?
Обольщенья ночных кабаре?
Всё постыло, ни встать и ни лечь.
И настырна нерусская речь.
Страшен чёрный провал впереди.
Отойди от меня. Отойди.

Иерусалим, июнь 72

2. ИЕРУСАЛИМ

Я сошёл со своей стези,
Оступился, куда не надо.
За железными жалюзи
Чёрный призрак чужого града.

Ночь тягуча, как чёрный воск.
Тишина тяжела, как грыжа.
Бело-синее пламя звёзд
Надо мной прожигает крышу.

Не уйти от такой тоски,
От последней тоски, пустынной.
Нарезая ночь на куски,
Тонко стонут часы в гостинной.

Или память звенит, как медь,
О былой, о большой обиде?
Не хочу ничего хотеть.
Ни хотеть, ни глядеть, ни видеть.

Ни того, что теперь вблизи,
Ни того, что вдали навеки.
Как тяжёлые жалюзи,
Опущу железные веки.

Иерусалим, 10. 9. 72

3. ПАРИЖ, PLACE PIGALLE

Кому веселье — мне печаль.
Среди блядей и пьяниц
Торчу всю ночь на place Pigalle,
Проклятый иностранец!

Торчу, тяжёлый эмигрант,
Патлатей старой щётки.
Мадам! Налейте 200 грамм!
Вот мне — и той красотке.

Торчу всю ночь, красотку сжав.
Ох, скучно с вашей бабой!
Хочу сейчас на брудершафт
Вот с этим, с вышибалой!

Но вышибала дюж и рыж
И ничему не верит.
А фиолетовый Париж
Волнуется за дверью...

И это всё не по плечу
И точно в чёрном мыле.
И я торчу. Всю ночь торчу.
Торчу в Свободном мире!

Париж, нояб. 72

4.

Вадиму Делоне

Я всё своё продал и пропил.
И вот, безо всяких надежд,
Безудержно мчусь по Европе
Экспрессом «Париж — Будапешт».

И только ночные деревья
На этой железной тропе.
И только ночные виденья
Моё обступили купе.

И бродит, как синее знамя,
Неведомый отблеск вдали.
И бредят коровьими снами
Крестьяне французской земли.

И, синими искрами сыпля,
По Франции мчится экспресс,
Взывая протяжно и сипло
Во тьму первобытных небес.

Мюнхен, 1. 12. 72

5.

Слипается прошлое комом,
Сливается в мёртвый итог.
Я в мире совсем незнакомом
Стою на развилке дорог.
И что приключилось со мною?
Какой получился барыш?
Я вижу: под потьминской тьмою
Уже исчезает Париж...
Мучительная абберация,
Случайные взбрызги пера.
И, видимо, мне собираться
В другую дорогу пора.

Франкфурт-на-Майне, 7. 11. 73

6.

Звенели звёзды, листья падали,
Кресты застыли, как в строю.
В немецком городе Висбадене
На русском кладбище стою.

Нет, не меня, как падаль, бросили, —
Я всё, что было, бросил сам.
И на холме, в наплыве осени,
Стою, открытый небесам.

Пусть заблудился в мире западном,
И всё совсем наперекос...
Путём неправильным, неправедным,
Но я иду к Тебе, Христос!

Франкфурт, 8. 9. 74

7. БОЛОТО

Сразу к югу от Хайфы,
Где-то возле чего-то,
Средиземное море
Переходит в болото.
В тусклом, тяжком закате
Первобытно немое,
Средиземное море,
Средиземное море!

Где-то вольные страны,
Да до них не добраться.
Может, Левиафан
Здесь откладывал яйца.
И из топи и гнили
Вылуплялись идеи,
Вырастали легенды
О стране Иудее.

Я бродил по планете,
То зелёной, то синей,
По прекрасной, как детство,
Невозвратной России,
По парижским бульварам,
По берлинским аллеям...
Ничего не желаю.
Ни о чем не жалею.

Не паломник, не странник,
Не турист на охоте —
Видно, здесь и погибну
В Средиземном болоте,
В тупике, в захолустье,
В первозданной трясине, —
На печальной планете,
То зелёной, то синей.

Вайльмюнстер, 24. 3. 75

8. СОВЕТСКИЕ ТАНКИ

Мазурские топи,
Варшавские парки!
Ползут по Европе
Советские танки.
На Ригу, на Прагу,
На Лодзь и на Познань.
О красные звёзды!
О страшные звёзды...

Трясётся Европа
От грузного гула,
Узнает Европа
Железные скулы!
А новый Малюта
Как ухнет! Как ахнет!
И пахнет мазутом.
И гибелью пахнет.

На рынки и храмы,
На кемпы и копи
Советские танки
Скользят по Европе.
И каменный город
Трещит, как дощатый.
Советские танки
Не знают пощады!

Не верьте, друзья,
Дипломатам внимая,
Что танки застыли
9-го мая...
На Цю-рих, на Мюн-хен,
На ба-ры и бан-ки
И-дут по Ев-ро-пе
Со-вет-ские тан-ки.

Вайльмюнстер, 2. 6. 75

9. ВСТРЕЧА В ГАМБУРГЕ

Владимиру Шаталову

Не выясняя отношений,
Мы пьём сегодня по большой:
Немецкий лётчик с рваной шеей
И я с рассеченной душой.

Красотка пиво нам подносит,
А мы, конечно, про войну.
И лётчик Гитлера поносит,
Я тоже Сталина кляню.

Кривой локаль картавит хрипло,
И ничего не превозмочь.
Как глина чёрная, налипла
На окна гамбургская ночь.

Красотка с кружками маячит,
И кто-то лезет на рожон.

А мы суём друг другу, плача,
Фотоулыбки наших жён.

И что-то врёт немецкий лётчик,
И что-то я в ответ ему.
Давай, камрад, ещё глоточек!
Пора идти в дневную тьму.

Гамбург, 9. 7. 75

10. В ЛОНДОНЕ

Поблекло всё и отсырело.
В какой стране? В каком году?
Туманный день, ревут сирены,
И я по Лондону иду.

Холодный дым на тёмной Темзе,
И небосклон, как балдахин.
А я, как прежде, занят тем же:
Хожу, гляжу, кручу стихи.

Вдыхаю непонятный запах,
Впиваю странную страну,
Сажу в своеобразных пабах
И пиво жёлчное тяну.

А город, здание за зданием,
Во весь неимоверный рост
Как бы кирпичным почкованьем
Образовался и пророс.

Так тесно стиснуто пространство,
Не выбраться из западни.
И будто в дни викторианства
Биг-Бен отзванивает дни.

Но страх былого не растаял,
И всё бывшее, как броня,

Как ночь, как чёрно-серый Тауэр,
Вдруг навалилось на меня.

Земля скрипит, как флюгер утлый,
Как пыточное колесо.
Ночным убийством бредят куклы,
Тоскуя у мадам Тюссо.

А я по Лондону скитаюсь,
Не слишком трезв, не очень пьян.
Но то и дело спотыкаюсь
О нулевой меридиан.

Лондон, 4. 8. 75

11. КОЕ-ЧТО О ДЯТЛАХ

Надежде Шатуновской

Уныло в лесу и промозгло,
Лишь дятлы долбят напролом.
(И от сотрясения мозга
Они умирают потом.)

Среди тишины необъятной,
Не ведая сути совсем,
Ах дятлы, ах глупые дятлы,
Чего вы стучите? Зачем?

Я пьяный — то в доску, то в стельку —
Ненужную ношу несу.
И бьюсь головою о стенку,
Как дятел в пустынном лесу.

Как дятел — балдой об осину —
Долбаю до боли во лбу.
И всё вспоминаю Россию,
И всё проклиная судьбу.

Скитаюсь бесцельно и долго
Сквозь призрачный сумрак и свет.

Хоть малая б толика толка!
А только и толики — нет.

Вайльмюнстер, 26. 2. 76

12. ЦИРК

Серым-серо, куда ни глянь,
И небо, точно цинк.
Но нынче в нашу глухомань
Пришёл столичный цирк!
Из самого Берлина,
Из дальнего Берлина
Приехал чудо-цирк!

Бродячий цирк, весёлый цирк
Раскинул свой шатёр.
В нём акробаты-молодцы,
Ну все как на подбор.
И звери из Бразилии,
Да, прямо из Бразилии —
Глазам наперекор!

Пылает красною горой,
Глядеть — не наглядеться!
И за немецкой детворой
Я в цирк бегу, как в детство.
А цирк народу полон,
А в цирке пёстрый клоун
Меня уводит в детство.

Ах, если б я остался тут, —
Наверно б чудо случилось!
Да только за порогом ждут
Тоска, чужбина, старость...
И я на прочих не гляжу,
И я из цирка ухожу —
В тоску. В чужбину. В старость.

Вайльмюнстер, 11. 4. 76

13. СТРАННЫЙ ЗАКАТ

«На далёкой звезде Венере...»

Н. С. Гумилёв

Тускнея за зубцами древними,
Закат уныло обливает
Поля с фруктовыми деревьями,
Каких в России не бывает.

Какой-то призрак мутно-розовый,
Пришелец из другого века.
А в небе просинь, в небе прозелень,
И тьму не отделить от света.

В какой-то траурной гармонии
Всё замерло и отзвенело.
Вокруг меня — страна Германия,
А может быть, звезда Венера.

На горизонте в дымном холоде
Садится Солнце, замирает.
Я знаю, Солнце в тёмном городе
Надёжно на ночь запирают.

И там хранят в бетонном бункере,
Содержат в заключенье долгом,
Его томят в холодном бункере,
Чтоб не мешало кривотолкам.

Всё это бредни алкоголика!
А может быть, тоска по раю?
А может быть, — к чему символика? —
Я нынче ночью умираю.

Бад-Фильбель, 25. 9. 76

14.

По тёмным подвалам,
По дымным провалам,
По улицам и площадям
Небывалым,
По зимней Москве,
По ночному Парижу
Я жизнь протащил,
Как тяжёлую грыжу.

А видано сколько!
А выпито сколько!
А нынче осталась
Больничная койка...
Да что там осталось?
Безродная старость.
Поэтому скверно.
Поэтому горько.

Весь мир беспокойный,
И страшный, и грешный, —
Он сжался какой-то
Звездой отгоревшей...
Вместился, несметный,
Вошёл, необъятный,
В квадратные метры
Больничной палаты.

Бад-Фильбель, 20. 2. 77

15.

Километры дороги, судьбы километры,
И закаты, как пятна сурьмы.
Над Нормандией стелятся сонные ветры
Атлантической серой зимы.

Я иду по дороге, далёкой, окольной,
Ко всему безучастен и глух.

И глядит на меня со своей колокольни
Недоверчивый галльский петух.

Провемон (Нормандия), 21. 2. 78

16.

Играют трубы в городском саду.
Европа стынет под осенним солнцем.
А я довольствуюсь своим балконом
И никуда отсюда не иду.
Я вижу только небо над собою,
Как голубую мутную слюду.
А где-то рядом, в городском саду,
Играют — вероятно, на гобое.
Закат багров и крепок, как коньяк.
Не нужно жизни. Проживу и так.

Франкфурт, 20. 8. 78

17. КРУГОМ ФРАНКФУРТ

Он днями и ночами душными
Раскинулся, как павильон.
Он высится, оскалась башнями,
Как некий новый Вавилон.

Во Франкфурте, в торговом городе,
И дым, и гам, и быт, и пот.
И годы падают, как жёлуди,
Срываясь в каменный пролёт.

Течёт в каком-то направлении
Коричневато-бурый Майн.
И сентябрит в потёмках времени,
А может, наступает май.

И что-то было, что-то сбудется,
И все смешались языки.

Как рыси, рыскают по улицам
Автомобили-рысаки.

А я, чудак, не внемлю транспорту,
На транспаранты не смотрю.
А я, чужак, брожу по Франкфурту,
От пива раздобрев к утру.

Франкфурт, 8. 9. 78

18. ПАМЯТИ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

Чёрно-красные барки
По Рейну ползут,
Издавая проклятья,
Ипуская мазут.
Чёрно-бурые замки
Над Рейном стоят,
В подземельях и башнях
Преданья таят.
И режут бомбовозы,
Поднебесье сверля,
Изрыгая угрозы
Над тобою, Земля.
Зимний воздух над Рейном,
Словно серая слизь.
Перепутались даты.
Столетия сплелись.
А норд-ост, свирепая,
Всё куда-то зовёт.
И глядит Лорелея
На атомный завод.

Бонн, 5. 1. 79

19. СВЯЗЬ

*Лие Владимировой,
автору «Связи времён»*

Земная жизнь желтела, как трава.
А дело было в марте, на закате.
Маячила фабричная труба —
Как символ всех проклятий и заклятий.

Мне было вовсе некуда идти.
И было как-то сумрачно и странно
В кривом пространстве Млечного пути,
Во Франкфурте, в локале «Танте Анна».

Нащупывали рыжий горизонт
Антенны, точно щупальцы прогресса.
И был у каждого его резон,
И было, в общем, буднично и пресно.

Шипело пиво, закипал галдёж,
Звенела кёрка в городе озяблом.
И кое-как просматривалась всё ж
Связь между мной и чёрным динозавром.

Франкфурт, 10. 3. 79

20. НА ЗЕМЛЕ

Светит Солнце едва вполнакала,
И на улицах — чёрная слизь.
Город Франкфурт, кривой, как лекало.
Это всё называется: жизнь.

Как другие — не больше, не меньше —
Я живу — не живу в полусне.
И люблю восхитительных женщин,
Как по штату положено мне.

И повсюду тоска да морока,
Что в ночной пустоте, что в дневной.
От угла до угла — вся дорога.
Все дела — от пивной до пивной.

Растоптал свои будни, как лапти,
И живу — не живу в полусне.
А сигналы из дальних галактик,
Может быть, адресованы — мне.

Франкфурт, 13. 3. 79

21. НЕ ХОДИТЕ ПО БЕРГЕРШТРАССЕ

Вот идёшь сквозь одно и то же,
По какой-нибудь Бергерштрассе,
Сизый дождик сечёт прохожих,
Шелестит в человеческой массе,
Вот иду себе, мокну, зябну,
День обыденный, как картофель, —
И внезапно — как взрыв! — внезапно
Чей-то странный прекрасный профиль.
Не её ли ищу — такую?
Не за ней ли везде шагаю?
Не по ней ли все дни тоскую
И в лиловых снах настигаю?..
Не она ли была со мною,
И не я ли тогда смеялся,
Называя её женою —
В прежней жизни, в чертогах Марса?
Небосклон отзывался медью,
Было счастье под синим Солнцем.
Разве знал, что за жёлтой смертью
Повстречаюсь ей незнакомцем?

«— Успокойтесь. Симптом не страшен.
Не ходите по Бергерштрассе,
А сидите покуда дома», —
Посоветует доктор Томан.

Франкфурт, 1. 7. 79

22. НЕМНОЖКО О КОНЦЕ СВЕТА
(Из цикла «Мои итальянские стихи»)

Поглядел в окошко и плечьми пожал:
Отпылал в пространстве мировой пожар.
И Господь сгребаёт всё, что Сам пожёт,
Всю труху Вселенной — в Угольный мешок.

Души, что поганки, нашу плоть и кость,
Чёрные огарки отгоревших звёзд,
Пепел всех столетий, пыль со всех дорог —
Всё сметает в бездну справедливый Бог.

Милан, 1. 10. 79

23. (Из цикла «Мои итальянские стихи»)

Жизнь моя, золотое безумие!
Очень странно, как в мире ином.
Поглядите: сижу на Везувии,
Запиваю спагетти вином.

А вокруг — ни травинки, ни кустика,
Точно тут не Земля, а Луна.
Ну а крикнешь — такая акустика,
Что по швам затрещит тишина.

Где там думать о всякой законности,
Если гибелен огненный вздох!
А лиловые тени на конусе —
Словно пятна от прошлых эпох.

И такое кругом скалозубие,
Что смешны человечьи права.
Я курю, прикурив у Везувия.
Всё ему, как и мне, трын-трава.

Везувий — Геркуланум, 19. 10. 79

24. SIC TRANSIT...

(Из цикла «Мои итальянские стихи»)

Мои глаза — полным-полны,
Шагаю левой-правою.
Гляжу на римские холмы,
Опохмеляюсь граппою.

Чем поразмыслить о веках,
Sic transit, об истории, —
Дивлюсь с бутылкою в руках,
Чего тут понастроили.

Мне б вникнуть в суть вот в эту всю,
Назвать бы всё по имени.
А я бутылочку сосу,
Давайте трахнем, римляне!

Sic transit, слава, мол, как дым...
Осталось чуть на доньшке.
Вокруг меня — и вправду Рим,
Ведь Рим, а не Черёмушки!

Эх, описать бы Колизей,
Изречь бы что гекзаметром!
А я, московский ротозей,
Валяюсь пьяный замертво.

И нет пути, и не пройти,
Не выбраться из города.
А кстати — мать его ети! —
Рим — это вправду здорово!

Рим, 21. 10. 79

25. СТИХИ О ЗВЁЗДНОМ НЕБЕ

А. Э. Краснову-Левитину

А небо, как звёздная чаша,
Всю землю накрыло собой.
Три четверти чёрного часа
Прокаркал немецкий собор.

Ковёр — не ковёр, и не карта,
Такое бывает в бреду.
Я умер в ту ночь от инфаркта,
Я умер у звёзд на виду.

А после в безмолвии морга
— Я помню приземистый зал —
Я долго, тяжёлый и мёртвый,
На цинковой полке лежал.

Сновали служители мимо,
Был сумрак в прозекторской жёлт.
А к вечеру облаком дыма
Я в звёздное небо ушёл.

Франкфурт, 13. 5. 80

26.

«Что случилось? Что со мною случилось?»

Сергей Есенин

Я сидел в пещере у огня.
Шли дожди лиловою лавиной.
Странно шелестел вокруг меня,
Шевелился мир неуловимый.

Едкий запах женщин и жилья,
Душный, тошный, страшный запах жизни.
Тени на рассвете бытия.
Мысли водянистые, как слизи.

Помню, мамонтовы черепа
Мне набормотали много-много...
И тысячелетий череда
Начиналась сразу у порога.

Пелена над миром, пелена.
Мир в плену, в пелёнках, в дебрях детства.
Всё бы ничего, да вот Луна!
Никуда не спрятаться, не деться.

Я сижу у серого окна,
В мутный дождик, как дурак, уставясь.
Я ведь был Хранителем Огня!
Что случилось? Что со мною случилось?

Я пойду отсюда, я пойду.
По пивным пойду, по магазинам.
И о чём толкует — не пойму —
Женщина, пропахшая бензином?

Люцерн, 5. 9. 80

ПОЭМА ИЗ КНИГИ «ИТАК, ИТОГ»

ПОСЛЕЗАВТРА НИЧЕГО НЕ БУДЕТ
Антинаучная фантастика в 3-ех разделах

ПРОЛОГ

И тогда
Термоядерный вихрь раскидал города,
Зашвырнул Монпарнас на Монблан,
Прашну брану и Спасскую башню
В Балтийское море.

Между тем
Жёлторотые
Полуматерные хунвэйбины
Наводнили Сибирь.
А потом
Испражнения атомных бомб,
Изотопы,
Затопили Европу
И прочие материка,
Всю планету.

Наконец,
Жизнь повымело начисто.
Человечество
Сгнуло.
В бронированной шахте остался 1 человек.
Уцелел.
Славный маршал Великой Державы,
Гениальный стратег,
Со столетним запасом тушёнки
И пшёнки!

РАЗДЕЛ I: СЕГОДНЯ

Не верьте
Фантастам, фанатикам и фаталистам!
Всё было вовсе не так,
Случилось иначе,
Произошло по-другому.

На Западе:

Поэты слагали поэмы
О том и о сём,
О сексе и космосе,
О сумерках времени.
Поэты слагали поэмы
Вроде таблиц для испытания зрения:
Ш Б М Н К

Укоренилась Анна Каренина,
Сжатая до квитанции.
Скульпторы смастерили
Статую Гравитации.

Входили в моду танцы на яйцах.

Жизнь заголилась.
Разъединилась на части.
Стала случайной, как случка собак.
Печальное счастье!
Бизнес.
Бейсбол.
Бензобак.

А дикторы и доктора
Орали по радио,
Радуя,
Ратуя.

А дейтрий и тритий
Растрясали земное нутро.
Ракетопланы
С ядерной дрянью
В лунные недра проникли.

Но обитатели Запада,
Обыватели Запада
Мирно ходили в бистро
И в метро.
Привыкли.

На Востоке:

В узорных дворцах,
В рисовых избах
Хулиганили хунвэйбины,
Хунвэйбинили хулиганы.
Ху-ху!
Шла Революция.
Ху-ху!
По Ян-цзы и Синьцзяну
Шла Революция.

Красный самум в пыльных глубинах пустынь.
Красная одурь опиумных лагерей.
Красное зарево зорь на снегах плоскогорий.
Шла Революция.
В отхожих местах жадно казнили поэтов.
Схожих с поэтами.
Похожих на них.
И просто прохожих.

Казалось, из зарослей затхлых,
Из гиблой тропической гнили,
Из тростниковых болот
Выползли злые драконы.
Из летаргии тысячелетий
Вылезли злые драконы,
Призраки сказок,
И, отряхая вонючую пену и тину,
Зелёную древнюю слизь, —
Сразу
Стали цитировать Маркса.

А надо всем над этим
Мутно желтело,
Как жёлчное Солнце,
Как тошное Солнце конца,
Лицо (лицо ли?) обрюзглого старца
Кормчего Мао.

Советский Союз занимал тогда территорию в 22402200 кв. км между Западом и Востоком.

Люди, люди,
Почто не покаяться?
Зачем опохабились?
Ведь недаром грозит Апокалипсис
Огненной гибелью!
Ведь не зря угрожают
Астрологи
Мёртвым кометным хвостом,
И астрономы
Нас устрашают
Мерзким вторжением с Марса.
И наследники Маркса
Всё пугают назойливым призраком,
А поклонники Мальтуса
Обещают, что общество,
Вся биомасса,
Опарою вспухнет
(Уйма дюжин на каждый квадратный дюйм).

Ну и прочие
Тоже пророчат,
Что вспыхнет
Беда,
Что готов истребительный план
(Очень страшный),
Что вскоре
Термоядерный вихрь разметёт города,
Зашвырнёт Монпарнас на Монблан,
Прашну брану и Спасскую башню
В Балтийское море...

Итак, комментарий не требуется.
Да будет Бог сему судьёй!
Жизнь свернулась листом Мёбиуса.
Шёл 1967-ой.

РАЗДЕЛ II: ЗАВТРА

Не верьте фантастам, фанатикам и фаталистам!
Не верьте лунатикам!
Солнце сгорало в пространстве от собственной
страсти, фонтанируя гелий.
По небу катилась Луна одиноким яйцом
оскоплённого бога.
Звёзды застыли, как капельки спермы чуждой
космической жизни.
А на Земле создавались великие ценности.
А на Земле оставались — безликие — в целости.
И тогда-то пришёл МАСКУЛИНИЙ.

Из тайного тайн Лос-Аламаса,
Из засекреченной Дубны,
Из подпольной Японии
Пришёл маскулиний.
Слышите выплески хаоса?
Голос утробный и трубный?
Ах, ничего вы не поняли!
Ведь пришёл маскулиний!
Ныне
Пришёл мас-ку-ли-ний.

«Наконец-то наши учёные получили чистую бомбу с маскулиниевой начинкой. Она воплощает истинно американские идеалы: гуманность и демократию».

Сенатор Пол Бред

«Маскулиний — это мужество. Новая бомба — оружие мужчин, прямое, как рыцарский меч. Она исполнена истинно французского благородства».

Жан Поль Сортир

«Мы не требуем ни урановой, ни водородной бомб — этих грязных символов еврейского ехидства. Но наше древнее право — владеть маскулиниевой бомбой. Ведь она — порождение чисто германского духа».

«Мюнхенер Шайспатриот», вечерний выпуск*

* Засраный патриот.

«Всеми миру известно миролюбие Советского правительства. Новым тому свидетельством является маскулиниевая бомба, которую наш народ метко окрестил Бомбой мира».

«Октябрятская правда», речь тов. Сусликова

«Империалисты из Вашингтона и их пособники — московские ревизионисты — теперь стремятся запугать нас маскулиниевой бомбой. Но Великий Китай непобедим, ибо любая бомба — не более чем былинка в ослепительном сиянии идей покойного Председателя Мао».

Выступление тов. Му-дэ по пекинскому радио

Будние новости, нудные вести бубнит всепланетная пресса.
Пресно!

Дни однотипны, будто они с одного штамповального
пресса.

Пресно!

Всё надоело, всех одолела глухая депрессия.

Пресно!

А дикторы и доктора

Орали по радио,

Радуя,

Ратуя.

А маскулиний земную пропитывал плоть.

Ракетопланы дерзко проникли в дебри Венеры.

Но вызревал уже мерзостный плод,

Зрело крушение эры.

К мировой катастрофе — вперёд!

«Профсоюз докеров насчитывает в своих рядах 84,6% женщин»

«В этом году в Токийский университет на каждого юношу принято 7,23 девушки»

«Впервые звание чемпиона мира по футболу оспаривают друг у друга женские команды»

«Монинская Лётная академия объявляет на льготных условиях набор девушек на все факультеты»

Я милёнка не найду,
Ни один не встретится. } поётся как весёлая
Лучше в лётчицы пойду, } частушка
Полечу к Медведице!

Ах, пташка ранняя
В сердце ранена. } поётся как грустная
Было Монино, } частушка
Да стало Манино!

Интервью акад. Головкера

Вопрос. Чем Вы можете объяснить тот факт, что за последние десятилетия рождаемость мальчиков резко снизилась, тогда как для девочек она осталась на прежнем уровне?

Ответ. Науке этот факт не известен.

Олюшки, Леночки
Играют в мячики.
Резвятся девочки.
А где же мальчики?
Поют, как пеночки,
Смеются младшие.
Но только девочки.
А где же мальчики?
Вздыхают старшие,
Прочтя романчики.
Ведь всюду девочки...
А где же мальчики?
А где же мальчики?

Где мальчики?!

«4000 франков за рождение мальчика единовременно вы- платит французское правительство любой гражданке 8-ой Республики. Свидетельство о браке не обязательно».

«Руководствуясь идеями Председателя Мао, я родила мальчика. Мой сын жил целую неделю».

Хунвэйбинка Янь-ху из Ху-яня

А маскулиний земную пропитывал плоть.
Вплоть
До последнего дна.
До последнего дня.

Так выползло вымороченное Завтра.
Мужчины вымерли, как ихтиозавры.
Исчезли партии, фракции,
Исчезли Турции, Франции,
Исчезли нации.
Осталось 9 000 000 000 женщин
Единого племени.
Осталось 9 000 000 000 женщин
В ловушке времени.
Осталось 9 000 000 000 женщин —
Пашня без семени.

Водились впотьмах наркоманки.
Возились в углах лесбиянки.
И славилась всюду,
Как чудо,
Как откровенье небес, —
Кривая старуха,
Почтенная шляха,
Почётная блядь фон Одесс —
Соня Троянкер.

«Париж, 7 августа. Экспедиция за снежным мужчиной! Сегодня в 11.00 с космодрома Бордо запущена ракета «Сантос Фаллос» в сторону Гималаев. Экипаж 40 человек. Капитан м-ль де Бардюк, стартуя, выразила твёрдую уверенность в успехе экспедиции».

«Кингстаун, 23 сентября. Парламент Республики Мумбо-Юмбо абсолютным большинством утвердил новый закон о смешанных браках между гражданками Республики и орангутангами».

«*Стокгольм, 22 декабря.* Директору Института Плотности доктору Биксе Солуп* присуждена Нобелевская премия за успешный синтез мужчины. К сожалению, экспериментальный экземпляр лишён первичных половых признаков».

Мой милёнок в колбе вырос,
Да залез в милёнка вирус,
У милёнка у мово
Не осталось ничаво! } поётся как частушка

«*Пекин, 22 декабря.* В директиве 33-го съезда КПК о Новом Большом Скачке 2 000 000 000 женщин объявлены Красными мужчинами. Бывшие женщины обязаны носить мужскую одежду, а также, руководствуясь идеями Председателя Мао, отрастить усы и бороду».

«*Чикаго, 10 февраля.* Разъярённая толпа зверски изнасиловала 147-летнего мистера О'Кастраки. Уникальный труп отправлен в Национальный музей».

Я люблю тебя так горячо, горячо!
Я твоя, старичок, старичок!

«*Каир, 13 февраля.* Гальванизация мумии фараона Хиёпса 44-го успешно продолжается. Правый семенник фараона рассыпался вследствие короткого замыкания».

«*Киев, 8 марта.* Перед погромом органами милиции была задержана неизвестная в шали с пачкой листовок антисемитского содержания: «Жидовки украли наших мужей! Бей жидовок!» Контужены 3 самоотверженные милиционерки».

«*Буэнос-Айрес, 1 мая.* На открытии Дома Любви присутствовала министр здравоохранения сеньора Лос Бианка».

* Бикса на ростовском жаргоне — блядь, солуп = пенис (на том же жаргоне).

«Лхаса, 18 июня (от нашей собст. кор-ки). Триумф экспедиции м-ль де Бардюк! Снежный мужчина обнаружен! Смелая исследовательница и её спутницы растерзаны своими партнёрами при совокуплении».

А Бардакова-то, слышь, снежных мужиков нашла!
Чай, брешут?..

«Рим, 25 декабря. Папесса Пия I-ая торжественно отслужила рождественский молебен о непорочном зачатии. Да ниспошлёт Господь щедрость Свою на дочерей Своих!»

Не поможет, как видно,
Ни одна из программ.
Даже, как ни обидно,
Не поможет погром!
Ни науки, ни власти,
Ни Господь в облаках.
Ключ от женского счастья —
У мужчины в ... эээ ... руках.

Стала крошиться и рушиться цивилизация.
Первой из строя вышла канализация.
Земля засмердела. Осклизла. Ослизла. Облезла.
Рыжею ржавью зашелушилось железо.

Серо-зелёная бабка сидит,
Серо-зелёным глазом глядит
В серо-зелёный газетный лоскут.
Чевоё это тут?

«...кко-то-рую наш на-род ме-т-ко ок-крес-тил Бом-Бом-
Бой ми-ира»

Плутали по пепельно-пыльным полям
Старухи, старухи.
И были, наверно, сродни упырям
Старухи, старухи.
И стыла на пепельно-пыльных полях
Усталость. Усталость.

Скитались старухи в могильных полях,
Куда-то — уставясь.
Куда-то. В закатное жёлтое зарево.
Куда-то. В осеннее звёздное небо.

РАЗДЕЛ III: ПОСЛЕЗАВТРА

А потом пришло Послезавтра.
И ничего уже не было.

Шёлково—Москва, янв. 67 - янв. 69

ПОЭТОЧЕРКИ

СЕВЕР БЕЗ СИЯНИЯ

Поэтоочерк № 1

(Из книги «ИТАК, ИТОГ»)

За лесами, за полями
Лежит Заполярье.
Мне бы к сердцу его приложить,
Как пузырь со льдом!
Брошу город и дом,
В который меня запяли,
Сбегу в Заполярье!

Снился всё тот же сон: иду по длинному и тёмному коридору, от стены отделяются 2 фигуры — это трупы, они валятся на меня...

С утра моя голова похожа на ворох запутанной магнитофонной ленты.

Бегу из Москвы, словно увёл чужой чемодан.

Поезд № 112, Москва—Архангельск. Без ресторана. На станции Данилов добыл 2 ископаемые булки и пяток котлет, узких, как миноги.

Дошатый русский Север.

На станции Плисецкая (при чём тут Плисецкая?) в купе подсели 2 партработника, говорят о чём-то своём (не то о песках, не то о каких-то письмах). Вместе с дешёвым «Прибоем» выдыхают неспешное «О».

Белая ночь. Пейзаж иной планеты. Или грядущего. Архангельск. Проба пера.

В деревянном Архангельске
Живут не архангелы,
Даже не ангелы
Низшего ранга.
Обыкновенные архангелогородцы
Живут на своём полярном болотце.
Печи по старинке досками топят,
В четвертинке тоску топят
И ходят в холодные нужники, как до Петра.
В Большую Двину заплывают большие суда.
По городу бродят, слоняясь туда и сюда,

Матросы из Гамбурга, юнги из Англии.
С утра до утра.
В Архангельске живут не архангелы.
Проба пера.

В гостиницу не берут: смущает мой паспорт. Администратор никак не возьмёт в толк, зачем у меня, кроме постоянной московской, ещё временная ленинградская прописка. Это подозрительно.

Устраиваюсь у знакомых моих знакомых. Он — ассистент по кафедре микробиологии, она — ветврач. Люди добрые, но озлобленные. К сожалению, они ближе к пеструхе, чем к Пастеру.

Без труда подделываюсь к ним: у меня опыт.

Комната 18 кв. м, из них более трети занимают печь и закут с умывальником. Умывальником весьма гордятся: он имеет педальное управление.

Хозяйка диковата: поцеловал ей было руку, она отбивалась с такой силой, что рассекла мне губу.

Едим консервированную рыбу, привезенную с Каспия. Пьём спирт.

Узнал нечто любопытное: в Октябрьском районе доход от церкви больше, чем ото всех промышленных предприятий.

Назавтра некстати приступ моей почечно-каменной болезни. Двое суток в больнице. Боль, как в душе у народника. Помог морфий.

Белая ночь в белой палате.

Делали блокаду семенного канатика, выбрили половину волос (как царскому арестанту, но не на голове).

Наконец, родил камушек.

Из больницы выписываюсь со скандалом: мне ещё не сделали все анализы, необходимые для отчёта.

Хозяев не застаю дома, жду 2 часа на улице. Деньги, вещи — у них. А что, если...

Заботы с билетом. На морвокзале командует бойкая одесская еврейка. Пытается выстроить очередь по линейке (или по ранжиру).

Покидаю Архангельск в мерзкий дождь и туман.

Идём Маймаксáнским руслом. Навстречу суда из разных дальних стран, даже из Греции. На низких бортах замызганных лесовозов — благородный древний шрифт, знакомый мне по учебникам высшей математики и эпитафиям к Анатолию Франсу.

Вправо — остров Мудюк. Славное название! Есть ещё остров Сральный. А чего сто́ит Кемь — ведь это к.е.м. — историческое ругательство Екатерины 2-ой; благопристойные потомки смягчили эту высочайшую аббревиатуру и вышло — Кемь.

К полуночи проясняется. Стоим на рейде у о-ва Соновёц, похожего на коровью лепёшку. Грузим туземцев с детскими колясками.

Белая ночь над Белым морем.
Белые чайки над белым теплоходом.
Низко над водою светит Солнце,
Блеклое Солнце, ночное Солнце,
Солнце, круглое, как иллюминатор,
Который открыли в бледном небе
И позабыли задрать на ночь.
Низкое Солнце в высоких широтах,
Малое Солнце в просторах широких,
Тускло и скудно в море играет
И никогда никого не греет.
Оно не греет, а мне и не надо:
Пускай поостыну от жаркой жизни,
От жаркой драки и жаркой дружбы,
От жарких пьянок и жарких женщин.

Белый теплоход вибрирует дробно
В такт моему нездоровому сердцу.
Сажусь на битинг, гляжу на Солнце,
В белые недра белой ночи,
На белую пену Белого моря
И белые трубы над белым ютом.
Но я — профессиональная сволочь:
Я всё запачкал белыми стихами!

Тёмно-оранжевое Солнце, уже не круглое, а расплющенное, лежит на самом горизонте. В диаметральном про-

тивоположной точке — бледно-розовая Луна, как отражение Солнца в старом зеркале.

Смотрю во весь глаз (я одноглаз).

Пьяный лётчик бубнит не то о том, как его катапультировали, не то о том, как он кончил заочно 3 университета; кажется, это произошло одновременно.

Надоело. К.е.м.! Иду спать.

А сплюснутое Солнце лежит, как спелая дыня, на бледно-розовом подносе моря.

Проснулся перед Йокангой. Звучит, как «Гонконг» и «Йокагама». Стою 5 с половиной часов, но на берег не пускают: боятся, видимо, диверсии в тундре либо шпионажа среди лопарей-оленеводов.

Многие загорают на палубах. Пахнуло Югом.

Уже с утра, впадая в раж,
Бегут курортники на пляж,
Захватывают лежаки
И ржут, как лошаки:
Ого-го-го!

Ко мне подходит дама явно ялтинского, сочно сочинского типа и спрашивает, не Левандовский ли я. Подумаю, отвечаю, что нет.

А пьяный лётчик бубнит своё, катапультирует мат.

Вообще много пьяных. Я самый трезвый. Хотя есть ещё энтузиаст из Москвы, всё хочет попробовать морской воды, достаточно ли она солоня.

Остальные довольствуются коньяком.

Страшные подробности рассказывает об Йоканге капитан К. Рассказывает чётким языком устава.

Берём на борт отпускников и туземцев. Кто-то обронил письмо от какого-то Лёвы какой-то Ноночке. Письмо полно любви, тоски и ихтиологии.

Идём в Мурманск. Переживаю 69-ый градус северной широты.

Всё крепчает белый ветер,
Забывая обо всём.

И в ночном прозрачном свете
Так предельно чист и светел
Беспредельный окоём.

Слева — сопки, они похожи на шапки, тут и там грязные заплатки — это снег, экскременты мёртвой арктической зимы. Снег у самого океана.

В тундре всё больше мусора, Заполярье захламляется человеческими отходами: бочками, банками, бутылками, бумагой. Со временем оно обратится в сплошную помойную яму. Не последует ли за тундрой и вся наша планета?

Вся Земля превратится в тундру,
В жёлто-серое небытие.
Вам, наверно, поверить трудно,
Ну а я повидал её.
Только смерть на её просторах,
Только камни, бугры и ямы.
И безжизненен белый шорох
Ледовитого океана.

Странно: я действительно плыву по Ледовитому океану. Как прогоревший авантюрист, как неудачливый золотоискатель, я бросился на Север — за чем?

Тундра мертва, океан же полон недоброй жизни. То и дело выныривают бульдожьих морды тюленей и плавники полярных акул — касаток (трёхметровых).

Идём в Мурманск. Скорость 34 км/час (в переводе с морского жаргона).

Сегодня закат совсем другой. Облака сбегаются на Солнце, как толпа на скандал. Где-то слева пошёл дождь, из воды выскочило короткое узкое цветное пламя радуги. Справа вспыхнуло второе Солнце, т. н. ложное, жёлто-синего цвета. В море 2 солнечных дорожки: багрово-красная и жёлто-синяя. Какая-то научная фантастика. Типичное абстрактное полотно.

С чем бы сравнить ложное Солнце? Или что бы сравнить с ним? Я — профессиональная сволочь.

Входим в Теріберскую бухту, мрачную, как Валгалла, страшное влагалище мёртвой планеты.

На судне почти все пьяны, особенно отпускники из Йоканги. Всех пьянее один лопарь, не считая энтузиаста из Москвы, любителя морской воды.

Происшествия:

а) Один высунул голову в иллюминатор и её отшибло трапом.

б) Другой выпал за борт.

в) Третий (я) свихнул унитаза.

Ещё спёрли в гальюне рулон туалетной бумаги, но это уже не происшествие, а норма.

Моя каюта остро провоняла туземцами и рыбой (надеюсь, не с Каспия!).

За лесами, за полями
Я нашёл Заполярье.
У каждого свой интерес.
Одни бегут в «Интурист»,
Другие спешат за шлюхами,
Третьи крадутся за слухами.
А я до судорог обеих рук,
Без друзей и товарищей,
Хватаюсь за полярный круг,
Как утопающий.

Кольский залив — длинный, узкий и чёрный.

У причалов рядом атомоход «Ленин» и исторический (чуть ли не доисторический) «Ермак» — наглядная диаграмма прогресса.

Мурманск — оазис цивилизации. В отличие от Архангельска, он не затрапезен. Лёгкая музыка и лёгкие женщины в шикарнейшей «Арктике» приводят в экстаз отпускников из Йоканги, Териберики и дальних факторий. Почти по Дж. Лондону (в ухудшенном издании).

Отплясывают лихую помесь рок-н-ролла с гопаком. Это тебе не Дом Герцена времён Маяковского!

Я не спеша наполняюсь пивом. Одновременно заполняю анкету белесому аборигену.

Вопрос. А вы откуда будете?

Ответ. Иофе из Яффы.

Вопрос. А вы кем работаете?

Ответ. 4711, 529.

Удивлён, что я знаю слово «абориген», считает его местным, чисто поморским. Подозревает меня в чём-то.

Совместно с любителем морской воды слоняюсь по Мурманску. В музеях мы единственные посетители. Сонная чухонка, орудуя полуметровым ключом, открывает залы специально для нас. «Особый интерес у приезжих вызывают музеи города», — утверждает путеводитель.

На плакате безумная женщина в кровавом платье: «Родина-мать зовёт!» Валяются трофейные знамёна с рваными свастиками. Нашествие Гитлера, наша молодость, наше прошлое — всё это давно сдано в музей, чуть ли не в отдел археологии.

На Мурманском вокзале западная мебель, стиль модерн, жёлтая, синяя, розовая, зелёная, красная. Остальное — наше, исконное: дежурный сгоняет несчастных с этого радужного модерна в тесный закут, истеричная кассирша вопит, билетов нет. (Между тем поезд уходит полупустым, в мягком вагоне всего 3 пассажира.)

На сей раз ресторан в поезде есть, но нас не кормят: бригада выполнила план кормления ещё по пути из Ленинграда в Мурманск.

Итак, на Юг. Еду по берёзовой Карелии. Вот и знаменитая Кемь. От Сороки идём вдоль Беломоро-Балтийского канала имени И. В. Сталина.

Я не стирал бы с карты это имя.
Я не стирал бы грязное бельё.
Пускай потомки помнят нас такими,
Какими нас взрастило бытие.
Какими нас эпоха сформовала,
Какими мы, не веря и не ждя,
Ложились в грязь у этого канала
По манию, по мании Вождя.
Просторы детонировали гулко,
Упрямый грунт от грохота размяк.
Что там Некрасов со своей чугункой?
Не та задача и не тот размах!

Вот и Ленинградская область, станция «Новый быт», на переднем плане старая развалюха. Чувствуется цивилизация: бабы косят траву в модных жатых купальниках.

Итак, итог. Север остался за спиной — Север без сияния. Впереди ампир Ленинграда и готика Таллина.

С Ленинградом я связан кровно. На Пестеля, в доме № 8 — моя мать, на Красеньком, в могиле № 5 — мой отец.

В Москву вернусь не скоро.

Но те двое в длинном тёмном коридоре — ждут. Им не к спеху. Рано или поздно, они меня задавят.

Архангельск—Мурманск—Ленинград, 7-14 июля 1963

ЗОЛОТАЯ ПЛАНЕТА

Поэтоочерк № 4, фантастический, да не очень

(Из книги «ИТАК, ИТОГ»)

«...Люди, будьте бдительны!»

Юлиус Фучик

100 000 лет назад. В Солнечной системе на упругих эллипсах 10 планет: малых и великих. Малые планеты роятся вокруг Солнца. Этих космических пчёл всего 5: Жёлтая, Зелёная, Голубая, Красная и Золотая. Человечество обитает на Золотой планете, Трисанхаре, 5-ой по счёту от Солнца. Далее — мёртвые гиганты, мёрзлые сгустки метана и металла.

3 материка Трисанхары любовно возделаны. Нет ни унылых пустынь, ни тусклых тундр. Геометрический пейзаж городов живописно вписан в мягкую золотистую флору.

Всюду наука и техника. Они пронизывают быт, как прутья арматуры пронизывают железобетон. Компактные реакторы синтезируют из гелия и золота чистое железо, недоступное ржавчине. Инкубаторы на гигиеничных фермах вынашивают детей с заранее заданными

свойствами. С младших классов эти дети постигают единую теорию поля.

Служба космоса буднична, как Службы климата и времени. Впрочем, от межзвёздных полётов все давно отказались, — разумеется, кроме авторов научно-фантастических романов. Зато хорошо изучена ближняя соседка — Красная планета. Вокруг её мёртвого тела кружат 2 постоянных спутника. Уже более столетия эти искусственные коршуны регулярно излучают информацию о пустырях и пустынях Красной планеты.

В последние годы Служба космоса готовит экспедицию и на Голубую планету. Возможно, там обнаружат разумную жизнь.

Наукой и техникой, а заодно и искусством, заведуют совершенные роботы — позитронные биодавни.

Людям остаётся только высокая политика.

История идёт на убыль. Кровавые короли и лукавые президенты — это в прошлом. Их пластмассовые куклы тихо обитают в музейных сумерках, в скучной компании мастодонтов и самолётов.

Теперь на планете Демократия. В золотистые материки цепко впились 2 великих и славных демократических государства: Юго-Восточная Федерация и Северо-Западный Союз. По законам тяготения могучие Демократии давно заглотнули всякую мелочь: разумеется, для её же блага.

Государства резко отличаются эмблемами: у Федерации — Рыжий Кот, у Союза — Синяя Сова. Рыжий Кот, по преданию, украшал в мутной древности малахай достославного негодяя, основателя Юго-Восточной Империи. О Синей Сове преданий не сохранилось, — жители Союза немало гордятся этим историческим фактом.

На беду каждая из Демократий понимает этот термин по-своему. Это порождает остервенелую ругань. Федераты неучтиво именуют союзников синей холерой, союзники федератов — рыжей проказой. И те, и другие усиленно пополняют опасные запасы кобальтовых трубок, миниатюрных наследниц неуклюжих гелиевых и водородных бомб. Между тем, подсчитано: одновременный взрыв 3-ёх трубок истребит на планете жизнь, а взрыв 8-ми трубок расколется планету, как сухой орех.

Впрочем, оба великих государства активно борются за мир: каждое категорически требует у другого уничтожения ужасного оружия.

От политики не скрыться, как от гравитации. Всякие инакомыслия истребляются на корню. У правительства Федерации на этот предмет оборудованы лучевые камеры. Правительство Союза гуманнее: недовольных вывозят на Красную планету, там они роют колодцы и каналы. Бессмысленный труд убивает безотказно: из всей Красной планеты не выжать и полстакана воды. Серебряные коршуны бесстрастно излучают в пространство информацию о достижениях заключённых.

Золотую планету парализует страх. Распространяется пандемия неестественных самоубийств, как чума в додемократические эпохи.

Возникают тайные клубы наркоманов и эротоманов, появляются клубки странных религиозных сект. Мутная молва шёлотом сообщает о секте полоухих хромодий. Какие-то неопознанные личности пойманы на государственных складах кобальтовых трубок; другие схвачены при поджоге детского инкубатора.

История Трисанхары приходит к концу.

Тем временем снаряжается запланированная экспедиция на Голубую планету. Полёт придиричиво продуман и просчитан. Звездолёты стартуют в наиболее благоприятных условиях, в момент элонгации планет.

Кстати, космонавтов никто не провожает: люди заседают и залегают в своих политических и эротических клубах. Только позитронный биодавень 529/4711 выступает с напутствием. Биодавень читает свои стихи, сочинённые за 0,07 секунды:

Разум возник из болота,
Из первобытной грязи.
Двигутся звездолёты
В чёрном межзвёздном газе.
Многие дни тревоги
До золотой победы.
Долгие дни дороги
До Голубой планеты.

Через просторы света,
Через провалы мрака
До Голубой планеты
Надо лететь, однако.
В чёрной небесной глуби
Светится звёздное семя.
А космонавты — люди.
У космонавтов — семьи.
Преодолели косность,
Преодолеем космос, —
В небе без позолоты
Двигутся звездолёты.
Может быть, космонавты
Ищут другую правду?
Или, томясь в кабинах,
Кличут своих любимых?
И ощущают в трансе
Холод бездонных странствий?
А перед ними — Солнце,
Точно дыра в пространстве!
Как раскалённый висмут,
Как расплавленный глянecь.
В чёрное небо высунут
Красный протуберанец.
Солнце справа по борту.
Солнце слева по борту.
Что говорить о чём-то?
Всё надоело. К чёрту.

На Голубой планете
Спят голубые воды,
Там голубые дали
И голубые своды.
Будет чужое небо!
Будняя быль, как небыль!
Только на той планете
Ты ведь откуда не был...
Может быть, рай прекрасен,
Всё же трудна работа.
По неизвестной трассе
Двигутся звездолёты.

Очень уж невесёлый
Тесный мир невесомый,
Паста вместо бифштекса
И обузданье секса...
Долгие дни дороги
Мчатся, в ничто пробираясь.
И, как сигнал тревоги, —
Красный протуберанец.

Спуск на Голубую планету удачен. Пришельцы основываются в высокогорной котловине, в рваном кольце снеговых вершин. Удивляет растительность: она не золотистая, а зелёная.

Бурно празднуют счастливое приземление и закладку Железного города.

Пока космонавты веселятся на новоселье, на их далёкой Родине взрывается кобальтовая трубка. По-видимому, спонтанно. Сразу же сотни таких трубок щедро высыпаются на города Северо-Западного Союза и Юго-Восточной Федерации. Политический раскол превращается в физический. Золотая планета исчезает, возникает пояс астероидов.

Взрыв своей Родины космонавты наблюдают как красивый золотой дождь. Возврата нет. Пришельцы остаются на Голубой планете, 3-ей по счёту от Солнца.

Идут тысячелетия. Ось Голубой планеты прецессирует, она вырезает из пространства узкий конус — каждые 26 000 лет. Тропики четырежды вползают к полюсам и четырежды сползают к экватору под натиском полярных льдов. Голубая планета молода, она бурно дышит. Вулканы отрыгивают из недр раскалённые глыбы, выбрасывают из нутра огненную блевотину. Океаны захлёстывают материки и, схлынув, обнажают вязкое дно, образуется новая суша.

Идут тысячелетия. Голубая планета жадно всасывает небесных пришельцев в свои дремучие просторы. На Центральном континенте обнаружены схожие существа, земнородные люди. У земнородных чёрная кожа, гипертрофированный детородный орган и недоразвитый инфантильный мозг.

Идут тысячелетия. Пришельцы кочуют по дремучим просторам, они дичают, их глаза наполняет голубая бессмыслица, как глаза новорожденных. Некоторые спариваются с туземцами, возникает жёлтая раса.

Центральный континент трескается от внутреннего жара, части его расползаются, как чудовищные черепахи после совокупления. Образуются Африка и Южная Америка.

Высокогорная котловина, первое пристанище небесных гостей, проваливается, окрестные горы сбрасывают в провал свои ледяные кольчуги. Котловину доверху забивает лёд. В сиянии Солнца лёд исходит сиреневым потом, становится водой.

История человечества начинается сызнова.

Кровавых королей сменяют лукавые президенты. Неуклюже вспархивает первый самолёт, перепончатокрылый, как птеродактиль. Нарождается Демократия...

Люди наглухо забывают о своём небесном происхождении. Они уступают небо богам.

Но звёздные дали смутно тревожат людей. Им снятся совсем непонятные сны. У снов золотистый оттенок.

Впрочем, существуют ещё тёмные библейские тексты, название «Небесная империя», да где-то в индийских джунглях башня из чистого железа, недоступного ржавчине. И, наконец, наше странное отчуждение от чернокожих.

Так идут тысячелетия. Каждый август на нас сыплется с неба астральное золото, мгновенно расцветают радианты тонких золотых дождей. Это сырые осколки Золотой планеты, Трисанхары, нашей небесной Родины.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В 1965 г. я посетил историческую горную котловину: теперь она заполнена озером Иссык-Куль. Сквозь тёмно-сиреневую линзу озера я различал смутные очертания Железного города, похожие на телевизионное изображение при нечёткой настройке.

На теплоходе пиво,
Шумно, полно народу.
Волны ползут лениво,
Следуя теплоходу.
Сонный, от солнца пьяный,
Свесился с теплохода.
Всматриваюсь упрямо
В глубь, в голубую воду.
Как в старинном романе
Полустёртые строки,
Как на телеэкране
При нечёткой настройке,
Как водяные знаки —
Где-то внизу, во мраке,
Контурные кружевные,
Конусы неживые.
Что это? Небыль? Диво?
На теплоходе — пиво,
И репродуктор ржавый
Харкает Окуджавой.
Солнечной благодатью
Дышат живые люди.
Под голубую гладью
Недостижимы глубины.

С горечью отмечаю, что люди недостаточно бдительны, — несмотря на неоднократные предупреждения.

А куда же нам бежать? И что мы найдём на других планетах? Пустыни красной тоски? Зыбкие тёплые топи, обиталища безмозглых чудищ? Или, может быть, жизнь, похожую на мультфильмы Диснея?

Чолпон-Ата (Киргизия), авг. 65

МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ

Поэтоочерк № 6

(Из книги «ВНЕ РОССИИ»)

1. КАРАВЕЛЛА

«Wir überqueren die polnische Grenze!» Высокий венский голос наполняет почти пустые салоны. «Каравелла» плывёт по жёлто-голубым облакам — медленно, как во времена Колумба.

Итак, итог. Я пересекаю границу прошлого.

13-ое мая 1972 года. Мне полвека. А прошлое моё началось так: в 10 лет я возил и носил передачи отцу в Суздальскую тюрьму. В 50 лет я возил и носил передачи дочери в Казанскую психбольницу — так кончалось моё прошлое.

Где-то там, внизу, уже за границей, Шереметьево-2. Пьяный Якир рьяно и яро бросается на кого-то зелёного: не то на пограничника, не то на чёрта. Тут же пьяный Гусарыч, чей папа убил Михоэлса.

Потом, за железной решёткой, в гуще провожающих — жена и дочь. Всё нечётко, как на плохой фотографии. К тому же — искажено дождём.

Таможенный шмон сошёл хорошо. Член мне не залупляли — как солженицынскому Иннокентию. Даже в заднице не шарили (кстати, там у меня не брильянты, а кровяные шишки). А книгу мою «Итак, итог» нашли и пришили к неведомому мне делу № 24. Но это было ещё на другом шмоне, неделю назад, дома.

Дома? «А знакомое слово 'дома' никому теперь не знакомо». Это я слышу Анну Андреевну Ахматову. В прошлом, в дебрях времени.

Стюардесса с венским голосом подносит мне какую-то сложную еду и к ней замысловатое оборудование.

Часы показывают, что под нами — распятая Чехословакия. 8 лет назад я — советский турист — весело пил венское пиво в пивной Святого Томáша.

Воспоминания бесчисленные.
Я нынче сам себе Колумб.

Вдогонку Солнцу, в дым, в немыслимое,
Плыву сквозь голубую глубь.
Иная даль меня притягивает,
Мелькавшая в барачных снах.
И «Каравелла» чуть подрагивает
На жёлто-голубых волнах.

«Gürtel anschnallen! Nicht rauchen!» Давлю окурок, привязываю себя к креслу. По естественной ассоциации — голос Юлика Кима: «Видно, крепко я привязан, не уйти»... Тоже из прошлого.

«Каравелла» резко ныряет в жёлто-голубые волны, и внезапно возникает отчётливый макет моих давних снов — Вена.

13-ое мая 1972 года. На моих часах — полвосьмого. На здешних — полшестого. Ах да, я спешил вдогонку Солнцу.

Меня встречают 2 представителя Сохнута. Всё деловому сухо. После краткой (несоветской!) процедуры меня водворяют в персональную машину и в шоковом состоянии увозят в Шёнау.

2. ШЁНАУ

Итак, итог. Я в Австрии, в Шёнау, в 30-ти километрах от Вены, в центре Европы. Где-то в недрах старинного парка, внутри старинного замка, в квадратной комнате со сводчатым готическим потолком.

За окнами — европейская ночь.

Ещё мальчишкой я настойчиво мечтал о «загранице». В 1964 г. моя мечта частично осуществилась: я очутился в полузагранице, в народной Польше и социалистической Чехословакии (см. поэтоочерк № 2 «Европа одним глазом»). Тогда я был советским туристом. А теперь для меня заграница — Советский Союз.

В замке — средневековая тишина, вязкая и чёрная, как тряпина. И — старая, добрая, знакомая бессонница. Всё нечётко, точно искажено дождём. Железная решётка Шереметьева вплотную подступила ко мне.

К счастью, бессонницу несколько разнообразит интенсивный понос. Не иначе как от сложной еды над жёлто-голубыми облаками.

Яркое австрийское утро — как на рекламе авиакомпании «Austrian». Оказывается, я здесь не один, в замке ещё множество беженцев из Советского Союза. Большинство — почему-то не евреи, а грузины, с огромным скарбом. Старинный парк полон неугомонного гомона. неподвижен лишь австрийский жандарм в чёрном.

Всё это сильно смахивает на пересылку, попахивает эвакуационным пунктом. Скарб и скорбь.

Между 2-мя кошерными трапезами я шатаюсь по Шёнау. Чистая, устойчивая тишина, аккуратный, добротный быт. (Через 2 дня, в Иерусалиме, я узнаю от известного московского деятеля Т., что «Европа пахнет молоком и мясом».)

Я шагаю по прибранным плитам Шёнау.
А кругом — тишина, тишина.
Я шатаюсь вдоль прочных кирпичных оград,
Спотыкаюсь о надпись «Privat».
По готическим улицам, точно в бреду,
По старинной Европе иду.
Упирается грудь, упирается взгляд
В твёрдотельные буквы: Privat.
Я явился из северной, скверной страны,
Тут заботы мои не нужны.
Тут чужая трава и чужие права.
Перекрыта дорога — Privat.

Привет тебе, частная собственность! А заодно и тебе, прибавочная стоимость!

Шёл по Шёнау, а нечаянно очутился в Винер-Нойштадте. Один австрийский городок плотно, без зазоров, пригнан к другому — здесь не Россия, не размахнёшься.

После своеобразного обеда нас везут в Вену — совсем как туристов. Красный автобус скользит по благоустроенной Австрии. Кругом — капитализм. Широкие многоэтажные шоссе — точно размотались серые ленты асфальта (или какого-нибудь там гудрона). Серые шоссе

нарезают Австрию на причудливые геометрические фигуры.

Власть в Австрии принадлежит автомашинам, во всём чувствуется их бешеное нашествие. Огромные пёстрые щиты рекламируют любимые напитки победителей: Eiap и Agal.

Коммунизм здесь не рекламируют.

Весенняя Вена прекрасна. Как-нибудь, на досуге, я опишу её архитектурные и прочие прелести.

Вот и Пратер, механические увеселения. В пёстром праздничном месиве мы растерянно жмёмся друг к другу. Кто мы: эмигранты? Иммигранты? Что нам это венское веселье?

Я всё же отщепляюсь от нашей кучки и робко пропиваю доллар.

Видно, сегодня сюда устремилась вся Вена — 1,75 миллиона человек. Всего в Австрии — 7,5 миллиона. Старая Австрия больна рахитом: гипертрофированная голова на недоразвитом теле.

Над Пратером, над Веной, над Австрией — гигантское колесо, Riesenrad. Чувствую, что здесь уместна аллегория, что-нибудь насчёт колеса жизни. Чувствую также, что нужно бы сложить стихи — по законам композиции поэтоочерка. А впрочем, зачем? Русские военнопленные всё уже высказали раньше и лучше:

«Я живу возле речки Дуная,
В Вене, городе очень большом.
Вспоминаю тебя, дорогая,
Вспоминаю Россию и дом...»

Эту песню мне часто пела моя жена, Надюша, бывшая военнопленная.

Железная решётка Шереметьева...

В Шёнау даю интервью представителю израильского посольства, вежливому господину Z. и его нежной жене. Пью кофе и читаю свои «Первомайские стихи», последние мои стихи, написанные в России, в прошлой жизни; оставляю их на память.

Назавтра, вечером, на сине-серебряном «Боинге» я покидаю аккуратную Австрию.

В «Боинге» шумно и беспокойно. В первом салоне — еврейские туристы из Лондона, во втором — мы. Кто мы: беженцы? Возвращенцы? Кажется, что салоны разделяет не лёгкая занавеска, а тяжёлый железный занавес (тот самый, пресловутый).

Я проникаю в первый салон и энергично читаю лекцию об учреждении УЭ-148/ст.-6, Казанской психиатрической больницы специального типа (см. поэтоочерк № 5 «Семь раз Казань»). Доброволец старательно переводит с немецкого на английский. Оживлённые туристы вежливо слушают, потягивая какие-то разноцветные напитки.

К овальным иллюминаторам «Боинга» плотно прильнула европейская ночь. Подо мной — неведомые страны, то ли Италия, то ли Югославия. А может, и Греция.

А может, всё это во сне? Вот напрягусь — и проснусь на 8-ой Соколиной...

Вдруг «Боинг» вздрагивает. Нава! Нет ни иммигрантов, ни туристов, безумие, как пламя, охватывает оба салона. Слева по борту блеснули огни Тель-Авива...

Страшно, что самолёт рассыплется, выплеснет нас в ночь, в Средиземное море.

К счастью, всё кончается не столь плачевно. Через четверть часа беременный «Боинг» разрождается нами в аэропорту Лод.

Я — в Израиле.

3. ИЗРАИЛЬ

В таможенном зале жарко, тревожно и шумно. За двумя рядами столов — многочисленные чиновники. Они оперативно передают меня друг другу — как по конвейеру. Я подписываю какую-то бумагу об отправке меня в какую-то Димону, получаю 50 лир и голубую книжку на иврите, древнееврейском языке.

Чувствую себя совершенно беспомощным. Пожалуй, я похож на новорожденного. Только на ново-

рожденного с памятью о прошлом и мыслями о будущем.

Внизу меня встречают мои московские знакомые. Талантливая толстотелая поэтесса увозит меня не в Димону, а к себе в студенческое общежитие, в Иерусалим, — ведь я в свободной стране.

Машина бешено мчится по ночному шоссе. Оно освещено странными оранжевыми фонарями. С обеих сторон мерцают горные срезы.

Двое суток провожу у этой поэтессы. В её комнатухе — крошечный хаос, всё брошено вперемешку. Возможно, потому мне так тяжело и тошно. Точно кто-то опорожнил мою душу, вышвырнул её содержимое в эту жалкую комнатуху.

О самой поэтессе сообщу, что она очевидно несчастна, совсем не вжилась в здешнюю жизнь и ощущает не то, что вне её, а лишь то, что в ней. Да и поэтесса-то она в прошлом, здесь она не пишет, поэзия резко её раздражает. Между тем, ей 23 года. Мне же, как известно, — 50.

Наконец, меня переводят в ульпан «Etzion». Московские знакомые всю вызволяют меня из Димоны. В придачу они активно опекают меня и одевают. Ну, одеть меня не так-то просто: для Израиля я несколько великоват.

Душное жёлтое утро. За окошком копошится и пищит разная птичья мелочь, вроде воробьёв. Но это не воробьи.

Не меньше недели ошалело шатаюсь по городу Иерусалиму. Днём и ночью, утром и вечером. Вот вечерняя Яффа-роуд, одна из центральных улиц, моя однофамилица: ведь Яфо и Иофе — одно и то же!

Распялив глаз, разинув рот,
От удивленья чуть не падая,
Хожу-брожу по Яффа-роуд,
По авеню Георга Пятого.
Кругом — неугомонный гам,
Ревмя ревут сирены сиплые,

И рвётся с пляшущих реклам
Квадратный шрифт забытой Библии...

Расплавленный полдень, кафе на асфальте — против стены Старого города, Old-City. Через голубую трубочку тяну ледяной, бледно-зелёный грейпфрутовый сок, курю непривычный «Nelson» из огрызка московского мундштука. Рядом некий турок, не то тюрк, сосредоточенно сосёт медный наконечник какого-то прибора из лаборатории средневекового алхимика. В приборе что-то булькает, идёт дым, — оказывается, это обыкновенный кальян.

А застёгнутый англосакс, презрев жару и прочее, пьёт — ну конечно же, виски с содовой. Молодец!

Мимо меня, мимо турка и англосакса, чуть не наступая на столики, дефилирует невероятный маскарад. Немые иорданки, запрятанные в тёмные коконы. Шумливые немки из ФРГ, голые, как на рекламе порнографического фильма. И ещё — чёрные рясы, белые бурнусы. И прочие, и прочие, и прочие.

Вся эта невероятная протоплазма гомонит, гомозится, кишит кишмя и остро благоухает.

А напротив — тысячелетняя стена, каменная фата-моргана, утыканная телевизионными антеннами.

А по узкой полосе, между кафе и стеной, ловко лавируют, стремительно струятся автомашины марсианских моделей. И чинно, неспешно вышагивают большие ишаки времён фараонов.

Я всю жизнь тосковал по экзотике, — ну что ж, я получил её сполна. Сплошной Ближний Восток. Только кому он — ближний?

Свыше часа я сижу, оглушенный, в чересчур экзотичном кафе, на улице Султана Сулеймана. Это — в арабской части города. Сегодня суббота, шабат, так что еврейская часть тяжко безмолвствует.

Вечером, на веранде ульпана, под огромной нерусской Луной, сочиняю стихи — моей жене, в России:

Знойной сухостью тысячелетий
Пахнут камни в дневной желтизне.

Космонавту на дальней планете
Будет так одиноко, как мне.
Вот иду вдоль изломанных линий.
Что случилось? И чья тут вина?
В страшном городе Ерусалиме
По субботам кричит тишина.
Горячи переулки пустые.
Полный полдень тягуч и тяжёл.
Я навеки ушёл от России,
Только я от тебя не ушёл.
Всё слонялся, скитался по свету.
Не хочу ни желать, ни жалеть.
Наконец-то дошёл до планеты,
Где могу в тишине умереть.
Я обломок, осколок остывший,
Будто вправду заброшен на Марс.
Между нами — моря и пустыни
И — границы чужих государств.

Каменный парапет веранды оборачивается железной решёткой Шереметьева-2. И, конечно же, всю ночь — понос и бессонница.

Назавтра — снова раскалённая теснота Иерусалима. Я не стараюсь запоминать здешние названия: ведь я не турист, я приехал сюда «всерьёз и надолго», как сказал некогда некий государственный русский философ-сифилитик. Кстати, делаю успехи в иврите: уже знаю слово «Шалом!». А также в английском: усёк суть надписи «W.C.».

С жителями Иерусалима я пока общаюсь на каком-то испано-румынском идише и ещё на том языке, который при хорошем воображении можно счесть французским. В общем, *tres mal*, премало. Выручает и жестикуляция: как-то раз, разыскивая железнодорожный переезд, я, дудя и подпрыгивая, успешно изображал паровоз.

Впрочем, изредка в городе раздаётся и русская речь — как правило, матерная.

В самом ульпане «Etzion» смешаны все языки — как в древности на строительстве Вавилонской башни (Вавилонбашстрое на совжаргоне). Ведь здесь перемешаны всевозможные иммигранты: из мордовских концлагерей,

из алжирских пещер, из нью-йоркских билдингов. И всё это — евреи, единый народ? Допускаю, через поколения их потомки дадут органическое соединение, но пока что здесь — механическая смесь, конгломерат. Как мне, советскому инакомыслу, столкнуться с венецуэльским бизнесменом?

Между тем я обширно общаюсь со всеми как в ульпане, так и вне ульпана: с местными евреями — сабра, с приезжими — олим. Разумеется, мне интереснее приезжие, поскольку я сам — оле хадаш. Одни из них на старости лет обрезались и покрылись ермолкой (по-местному — кипой). Другие честно прониклись мистической идеей Сиона. Третьи ринулись в политику, в общественную жизнь. Четвёртые — в честолюбие, пятые — в корыстолюбие. Но существуют и шестые (или шестьдесят шестые), живущие лишь прошлым, они истинные изгой, и выхода для них нет.

Замечу, что все перечисленные (и не перечисленные) категории живут как-то судорожно, одержимо; они без удержу убеждают в чём-то самих себя.

Всё это представляется мне неестественным.

Что же касается местных, сабра, то мне они кажутся существами с какого-то Сириуса.

Общаюсь я и с неевреями. Примечателен тонколицый господин К., работник НТС. Симпатична фройляйн К.Г., немецкий советолог, — это она написала «Die Stimme der Stummen» (я перелистывал её книгу ещё в Москве — там, в прошлой жизни). И, наконец, маститый и массивный мистер Н. — канадский психиатр с трубкой — я даю ему пространное и пристрастное интервью об учреждении УЭ148/ст.-6, Казанской психиатрической больнице особого типа, где содержалась моя социально опасная дочь.

Беседы, разговоры, интервью. От многоговорения я совсем сипну, под языком вызревает волдырь.

И странное впечатление создаётся. В Европе плохо, душно, она «пахнет молоком и мясом». В Америке и того хуже: орудуют чёрные банды, на улицах очень опасно, жители так и прозябают за бронированными дверьми с изошрённой системой запоров. В Советском Союзе...

ну, тут пояснять нечего. Вот и выходит, что единственная обетованная земля — Израиль!

Местный графоман А. интересно рассказывает о казусе в Чикаго с советским графоманом Евтушенкой. На эстраду бодро вспрыгнули 8 дюжих хлопцев и выбросили Евтушенку в оркестровую яму (за неимением помойной, видимо). Вылезши из ямы, поэт протёр шишку на лбу и завёл: «Бомбами — по балалайкам!» Ей-Богу, здорово!

Ещё был здесь большой кипеш с прибытием Пимена, патриарха всея КГБ.

Все евреи, советские и местные, дают мне многочисленные советы. Разумеется, эти советы несовместимы ни друг с другом, ни со здравым (моим) смыслом.

Оставьте меня —
Обойдусь без суфлёра.
Здесь пахнет на улицах,
Словно в садах:
Левкоями, хвоей
И прочею флорой,
Как в Клязьме, на даче,
В 20-ых годах.

И прежняя жизнь
Проступает из пепла,
Как будто и вправду
За пару шагов, —
Не гиблые глубины
Библейского пекла,
А детская синь
Подмосковных лугов.

Сегодня особенно трудно, дует хамсин — ветер из Синайской пустыни. Очевидно, поэтому я внезапно закипаю — совсем по-московски.

Четверо суток я щедро швыряю скудные лиры и доллары. И снова, только смурной и пьяный, неустанно шагаю, шатаюсь по городу Иерусалиму. Ослепительные кафе и затемнённые рестораны; странные притоны, ку-

рильни анаши; женщины, похожие на видения; видения, похожие на женщин; невообразимые пещеры, туннели Алладина в Старом городе — днём, его железные пустые подземелья — ночью. И пыль, едкая, пахучая иерусалимская пыль, мрачный запах 5-ти тысячелетий. (Позднее я узнаю, что здесь, в Старом городе, ночами водятся арабские педерасты.)

У Стены плача натываюсь на голодную забастовку. «Свободу советским евреям!», «Из Египта мы ушли и из России мы уйдём!» Под безумным Солнцем вповалку изнемогают какие-то люди — или это видения? А Леночка, моя московская ученица, моя любимица — зачем ты здесь? Или и ты — видение? Леночка, разве я тебя не люблю?

Почему здесь не плачут — у Стены плача? Ах да, плачут там, у железной решётки Шереметьева-2...

Сдаётся, это было на третьи сутки запоя.

И четвёртые сутки, горячие и белые, как белая горячка.

Последний верный доллар привозит меня к моей койке в ульпане «Etzion».

Всю субботу я цепенею на этой койке, цепляясь за ту самую решётку. Коматозное состояние, как говорил в прежней жизни мой друг Гусарыч.

Ещё мне мерещатся мерзкие ящерицы, они грациозно подползают ко мне под дурацкие стихи Глазкова: «Но оттуда нет возврата, нет возврата, нет!» Потом ящериц подхватывает мощный джаз. Джаз, кажется, не мерещится, это из соседней камеры. То бишь комнаты.

Назавтра меня приглашают в мисрад, местное управление. Вежливо сообщают, что мне надлежит уезжать в Димону — не позже, чем через неделю*.

Ну что ж, Димона так Димона, по мне хоть Потьма. Не биться же головой о вакуум, подобно моим друзьям, московским диссидентам.

* Димона — заасфальтированный кусок страшной пустыни Негев. Белые параллелепипеды зданий под вертикальными лучами истребительного Солнца, пальмы с ведьмиными пучками наверху, сухие, как фонарные столбы; рядом — ядовитая ядерная фабрика. Железобетонное воплощение белой горячки, современная модель библейского ада.

На иврите «димона» значит «мечта».

(Позднейшее примечание)

Пока что, нынче, я ещё в Иерусалиме. Солнце поспешно заходит, точно проваливается в колодец. Вечер.

С тоски читаю местные русские газеты: «Трибуну» и «Нашу страну». Язык знакомый, вполне советский (если отбросить местный колорит): «Пути повышения жизненного уровня Израиля», «Борьба за чистоту и вежливость началась вчера в Тель-Авиве». Впрочем, весьма занимательны обильные объявления: рекламируют американские стиральные машины, итальянские холодильники и израильских, не импортных, «удивительных красавиц от 17-ти до 70-ти лет» — это уже в отступление от советских канонов.

И полным-полно о войне. Израиль живёт войной. По всей стране орудуют террористы, и бросают они не наивные листовки, а весьма весомые бомбы.

Неудивительно, что при входе в кино или в банк полиция бдительно просматривает сумки и портфели.

Война мне, несомненно, отвратительна; я достаточно причастился её ещё там, в прежней жизни. Но вот здесь, теперь, мне почему-то симпатичны молодые милые солдаты обоего пола.

Ну, вот и ночь. За сетчатым окошком — огромная нерусская Луна, как жёлтая дыра в чёрном нерусском небе.

Сижу, мутно уставясь на медную рамку с 3-мя фото: крупное — покойного отца, мелкие — Надюши и Олюши, жены и дочери. Шестеро глаз, любимых глаз, смотрят на меня из прежней жизни.

В пучинах ночи тёмно-синей,
В Ерусалиме до зари
Цветут, цветут, как апельсины,
Оранжевые фонари.
Что день грядущий мне готовит?
Поток судьбы неошутим.
О щит Давида, Магендовид,
Хотя бы нынче защити!..

Иерусалим, 19 - 30. 5. 72

НАДО ВСЕЙ ИСПАНИЕЙ ГОЛУБОЕ НЕБО

Поэтоочерк № 8

(Из книги «ВНЕ РОССИИ»)

Я лежал ничком, в ложбине, и всё никак не мог взлететь. Левое колено ныло, брычина порвалась, к тому же я весь извозился в ослизлой грязи, может, и в дерьме.

Так прошло, примерно, полчаса, не знаю точно, часы мои стояли. А я всё ещё беспомощно лежал на животе. Такого со мной прежде не случалось — чтобы я не мог взлететь, разве что во сне, в ночных кошмарах.

Наконец, я выгнулся дугой, оторвав от земли голову и ноги, — это удалось мне с трудом, боль в левом колене стала нестерпимой. Ушиб — коли это ушиб — не мог быть таким уж страшным, я ясно помню: вчера я приземлился легко и упруго, да, я помню это, ведь сознание я утратил потом, уже лёжа на животе. Или я путаю? Да и кто ведаёт, что было потом, пока я плутал по мучительным лабиринтам, по закоулкам сновидений? Возможно, я иступлённо колотил ногами о почву, а в ней вон какие каменюги! Но ушиб, даже очень сильный, — это было бы всё же полбеды. Хуже, куда хуже, если это опять разыграла моя подагра, тем более, что вчера, в спешке покидая Мадрид, я не захватил с собой ни капсул амуно, ни гели доло-атрозенекс, моих привычных спутников. Я ведь вынырнул из толпы, как мяч из воды: вертикально вверх (такой старт мне не нравится, обычно я взлетаю из лежачего положения). Всё это случилось внезапно, в приступе отвратительного скандала с проститутками; события до того разворачивались нормально, в меру мирно. Так вот, я выскочил из бешеной толпы, как пробка из шампанской бутылки. Всё же некая змеевидная сеньорита успела ужалить меня в каблук (но не в колено же!), да какой-то чёрный чертёнок, упырёк, бормоча «мумбо-юмбо-мумбо-юмбо», швырнул в меня затычкой от радиатора, но промазал.

Я спасся от опасности, я уходил по прямой в зенит, женский визг превратился в чуть различимый писк (как в детекторном радиоприёмнике двадцатых годов), внизу

быстро стягивался овал Пуэрто-дель-Соль, Ворот Солнца, я уже не видел медведя на краю этой площади.

Понятно, что я не захватил с собой лекарств, до того ли было! Боже милосердный, что же это я? К чему же это я ворошу вчерашний день, я ведь всё ещё провисаю над этим проклятым болотом!

Тут я заметил, что на меня галопом несётся чёрный бык. (Позже, уже в воздухе, я сообразил, что бык — фанерный и никуда не нёсся: такие изображения щедро оснащают Кастильскую пустошь.) Я предельно напрягся, чувствуя перистальтику всех своих внутренностей, я выбрал в себя живот, я резким рывком — как пловец — выбросил ноги — и я полетел! Но, Боже мой, что это был за жалкий полёт! Я полз по воздуху в паре дециметров над землёй, то и дело задевая за клыкастую поросль и скалистые камни. Ну ничего, — утешал я себя, — ещё немножко, сейчас наберу высоту...

Но я не набирал высоту. Гранитный огрызок ударил меня прямо в темя. Я провалился в обморок, глубокий, как артезианский колодец.

Солнце, оранжевое и неестественно мутное, муторное, — точно я провёл в обмороке не часы, а миллионлетия, будто это был не обморок, а анабиоз, — почти касалось рваного горизонта, серого хребта, безрадостной сьерры. Левое колено ныло по-прежнему, к тому же в голове теперь выл, бубнил, клокотал, брякал какой-то полоумный джаз, особенно усердствовал ударник: мумбо-юмбо, мумбо-юмбо, дам, дам, дам! А потом: фанданго-фанданго-фламинго! При чём тут фламинго, хотел бы я знать. Никаких фламинго в Испании нет, я это твёрдо знаю, фанданго вот есть, это танец такой, а фламинго нету, это птица такая, в Мексике она водится, в Мексике, слышите, в Мексике, чёрт вам в мошонку! Это вы сумасшедшие, а я в здравом уме: фанданго — в Испании, а фламинго — в Мексике.

Отрезвило меня зловоние. Это от грязевого гейзера, подумал я, здесь они не редкость. Но я ошибался: воняло от меня. Видимо, я побывал не в артезианском колодце, а в ассенизационной цистерне. (Потом, в воздухе, выяснилось, что я обоссался.)

Вдруг я почувствовал неуёмную жажду. Но никакого питья, понятно, не было: точно я очутился в архейской эре или во 2-ой части «Тёркина», в безводном аду. (Я когда-то читал эту книжку, ещё в Москве, в прежней жизни, в самиздате, да, да, это я чётко помню, её ещё, кажется, обнаружили при обыске.)

Я сорвал коричнево-зелёную трубку и стал её сосать с такой страстью, точно то был не мерзкий сорняк, а сосок вожаденной женщины. Жажда я не заглушил, зато вызвал жестокую изжогу и пропорол себе язык.

Боже мой, милостивый Боже, что же всё-таки делать? Я трижды хрипло прочёл «Отче наш».

Неужели я разучился летать? Возможно ли такое? Ведь я летаю чуть ли не всю жизнь! Неужели я вдруг — и ещё в таком безнадежном положении — неужели я утратил этот Божий дар? А почему бы и нет? Ведь обнаружился же этот дар тоже — вдруг. И тоже — при критических обстоятельствах: я, мальчишка, бултыхался в Волге, напоролся на подводную корягу, потерял ориентировку — и меня понесло прямо на острые прутья, в стальную рошу, к ещё не доделанной дамбе, где чудовищные деррики и экскаваторы, игуанодоны сталинской эры, жадно грызли и отрыгали грунт (а бессчётные зэки с энтузиазмом выполняли пятилетку № 2 и сознательно строили Рыбинское водохранилище и заодно коммунизм).

Вот тут-то я и выпрыгнул из потока и, ничего не соображая, свободно полетел к берегу, где плавно спланировал на знакомую свалку, в посёлке Переборы, неподалёку от нашего барака (а ведь мог угодить и в зону!). Родителям я, разумеется, ничего не сказал — ни тогда, ни потом, я ото всех скрыл эту свою тайну, она мне казалась постыдной, как рукоблудие, которому я предавался хотя и самозабвенно, но тоже втайне.

Я вообще никому и никогда не сообщал об этой своей замечательной и удивительной способности (мне-то самому она представляется не более замечательной и удивительной, чем обыкновенная ходьба). Ни одной женщине не проболтался, даже жене, хотя наш супружеский стаж — 35 лет. И ни одному собутыльнику тоже, хотя пьянствую я всерьёз. Правда, меня годами иссушало

искушение: огорошить, ошарашить этой невероятной тайной своего лучшего друга, необычного поэта Николая Глазкова: вот так-то и так, дорогой, стихом я супротив тебя не взял, да зато...

Но Коля умер, так ничего и не узнав. Впрочем, пожалуй, он не так бы уж удивился, ибо твёрдо верил в чудеса. А тут и чуда-то никакого нет, просто несколько своеобразная человеческая способность. И кто знает, сколько ещё homo sapiens умеют летать, да таят — вот как я — это своё свойство. Поди, подсчитай! И небось: собакам, к примеру, наш двуногий бег тоже представляется чудом!*

Солнце зашло за зубчатые горы, разметав по западному участку неба своё разноцветное оперение. Понятно, не к месту вспомнил я, понятно, почему индейцы изображали Солнце в образе перистого змея. Это у инков был такой символ. Или у племени майя? Мексика, Мексика. Птица фламинго танцует фанданго.

Чёрный упырёк вылез из-за шершавой скалы, осклился и, неразборчиво бормоча «мумбо-юмбо-мумбо-юмбо», вцепился в моё левое колено. Так я и не перевёл на немецкий Лиину повесть, с тоской подумал я. И «Механику» не закончил. Ну, да ладно.

Бог дал — Бог и взял.

* О людях-летунах достаточно подробно — хотя и в общих чертах — сообщают Александр Грин, Александр Беляев и Михаил Булгаков, а также — совсем мельком — Андрей Синявский. Я не уверен, что их свидетельства достоверны. Притом интересно только первое: гриновский герой летает естественно, вот как я — тогда как беляевский Ариэль — в результате искусственного упорядочения молекулярного движения (для чего понадобилось хирургическое вмешательство!), а булгаковская Маргарита и некоторые другие его персонажи — с помощью бесовской силы; то же и в «Квартирантах» Синявского: полет на унитазе.

Что же касается древнего грека Икара — то его полёт явно неправдоподобен: механическое приспособление, использованное им, было бы не под силу эллинским инженерам. Кроме того, он летел в вакууме, что невозможно без скафандра.

Так что насчёт Икара — это чистый миф.

Ещё менее достоин доверия рассказ Марка Твэна «Путешествие капитана Стромфилда на небеса» — очередной розыгрыш неугомонного юмориста.

— Сколько будет, — отчётливо проскрипел чей-то голос, но то был не упырёк, — сколько будет 4711×529 ? Не знаешь, сволочь? Таблицы умножения не знаешь? А жил для чего? Эх ты, шарлатан!..

Упырёк упорно грыз мою ногу.

Я погибал.

Снизу пространство представлялось совершенно чёрным, точно это было не обычное трёхмерное пространство, а нечто, и даже не нечто, а ничто, то ничто, что существовало, то есть не существовало до сотворения Вселенной. Сбоку же оно казалось прозрачным, сумеречно прозрачным, той призрачной густо-синей прозрачностью, которую я видел в очень звёздные ночи и только в южных землях, в Средней Азии, на Ближнем Востоке, в Италии, в Испании. В Испании! Я ведь в Испании.

Нет! Я не был больше в Испании. Я летел *над* Испанией, я летел на левом боку, я летел, я летел, я летел! Да святится имя Твоё! Господи! Да святится имя Твоё!

Я взглянул вверх. Звёзды, крупные, как искры от штанги троллейбуса, звёзды, мелкие, точечные, точно раскалённые острия вязальных спиц, синие, зелёные, жёлтые, оранжевые звёзды, тысячи звёзд, тысячи Божьих глаз — казалось, они источали не только свет, но и ветер, слишком тонкий и чистый, чтобы быть земнородным.

Я лечу сквозь звёздный свет, сквозь звёздный ветер. Я измучен, изувечен, измазан земной грязью, испачкан собственными экскрементами, но я — лечу! Да святится имя Твоё!

Я растопырил руки и резко, рывком, взмахнул ими: правой — вниз, левой — вверх. Я перевернулся на живот. Теперь я знал, что подо мной — обычное трёхмерное пространство, привычный Эвклидов мир, и его абсолютную черноту объяснить нетрудно: жители Кастилии ещё не употребляют электричества. Я ведь видел их дома, каменные соты, полупещерные жилища. Не верится, что предки этих кастильцев когда-то владели полумиром, а испанское золото чаровало своим звоном старый евро-

пейский континент: дуб-лон! Ду-кат! Дуб-лон! Ду-кат!
Пиастр!

Я повернулся вокруг своей продольной оси на 180°, снизил наполовину скорость и, не торопясь, поплыл на спине. Я плыл, а надо мной пылали звёзды: отдельные звёзды крупного помолла, мелкий помол Млечного Пути. Да святится имя Твоё! Да светятся, Господи, глаза Твои, звёзды!

Этой ночью я много и долго кувыркался в звёздном свете, варьируя скорость и меняя высоту.

Мадрид выпирает из Кастильского плоскогорья, как огромный каменный нарост. Здесь нет окрестностей, предместий, того пояса живописных пригородов, который парижане называют banlieue. Если бы не геометрически правильные очертания — Мадрид вполне сошёл бы за порождение природы, как окрестные горы, серо-зелёная сьерра. И всё же как-то не вяжется, что этот город возвели люди, жители Земли, в нём чувствуется нечто инопланетное*. Впрочем, я не бывал на иных планетах.

Я подлетал к Мадриду с юго-востока, с угла, со стороны уголовных кварталов Карабанчеля.

С другой стороны города, на северо-западе, нехотя разгоралась сырая жёлтая заря.

Окно моей комнаты в гостинице «Кастельяно» оказалось, к счастью, не запертым, так что я очутился там самым простым и удобным способом: влетел в окно. Правда, я несколько замешкался в оконном проёме — мешала занавеска, — но меня едва ли засекли с улицы: всё-таки восьмой этаж, да и время раннее. И, понятно, лучше уж ошарашить уличного зеваку, чем шокировать портье и дежурного администратора своим растерзан-

* Мадрид стал грозно разрастаться с 1561 года, того года, когда король Филипп II, садист и фанатик, возвёл его в ранг испанской столицы. Прежде он был заурядным селением, вроде тех каменных сот, сотни которых и теперь гнездятся на Кастильском плато. Ещё раньше — в течение четырех столетий (до 1083 г.) — просто мавританская деревушка.

ным видом и омерзительным зловонием, да ещё наследить в вестибюле и в лифте!

В номере я прежде всего тщательно помылся, с удовольствием сходил по большой нужде (на лету испражняться можно, но физически неудобно, равно как и на ходу), намазал, а затем забандажировал левое колено, проглотил немецкое снадобье, запив его бутылкой ледяного лимонада, и принял 200 грамм коньяку «Наполеон». Вонючие лохмотья, лоскутья моей одежды, я уложил в целлофановый мешок, который запихнул за унитаз.

Спал я безо всяких сновидений, видимо, долго, я мог только гадать, сколь долго: часы мои никуда не годились. Мёртвое декабрьское солнце заливало город холодным расплавом тусклого серебра, — думаю, было около одиннадцати утра, значит, я проспал более суток, так я был измотан.

Как ни в чём не бывало, — а ведь бывало, было: погибель на отвратительном болоте! — я жадно позавтракал в ресторане, расплатился за номер и приказал администратору срочно отправить мой чемодан во Франкфурт-на-Майне*.

В ювелирной лавке (не менее волшебной, чем подземелья Алладина), наискосок от «Кастельяно», я купил себе новые часы швейцарской фирмы «Омега» (кстати, крайне дёшево), а затем напрямик направился в королевский парк. Там я, чуть наклонясь вперед, изящно стартовал с верхней площадки лестницы — никем не замеченный**.

Кастилия скользила подо мною, выставляя напоказ свои причудливые кости. Вулканы-невелички (из тех, что

* Я обосновался там после бегства из Москвы. Эмигрировал я, разумеется, самым доступным способом, презрев овировские рогатки и никчемную возню с бессчётными справками и характеристиками; но в районе польской границы меня чуть было не сбили ракетой класса «земля-воздух». Мне повезло: стрельба в лёт не удалась, промазали бдительные ребята, — вот как тот чёрный мальчишка, чертёнок, мумбо-юмбо, на Пуэрто-дель-Соль.

** Я тоже никого не заметил: ни явных охранников, ни тайных топтунов. Оно и понятно: ведь здесь всего-навсего дворец Дона Хуана Карлоса, испанского короля, не чета даче товарища Леонида Ильича Брежнева, пролетария всех стран.

блюют не лавой, а грязью); серые кряжи, щетинистыми хребтами напоминающие стегозавров из учебника палеонтологии; тёмно-красные сбросы горных пород. И хаотические посёлки — точно некий сказочный ребёнок-исполин разбросал, играючи, свои кубики. И — ни одного озера, ни одной речушки.

Безводная, бесплодная Кастилия, негостеприимная страна, медленно проползала подо мной. Я летел с незначительной скоростью, не более 80 км/ч, на высоте примерно полкилометра. Обычно я предпочитаю умеренную высоту: дело в том, что я — в отличие от голубя и перелётной птицы — начисто лишён шестого чувства, чувства направления, я не ощущаю нутром магнитного поля, мне необходимы земные ориентиры. К тому же у меня всего один, правый, глаз: левый мне высадили в пьяной драке, ещё в 56-ом, в Москве, на станции метро «Аэропорт».

Ландшафт становился всё более живым и жилым. Видимо, я летел уже над Арагоном, вон та зелёно-серебряная сороконожка слева, у подножья неба, — не иначе как река Эбро.

Странно, что мне не повстречалось ни одной птицы.

Кстати, птиц я боюсь. Ясно, птичья мелочь не в счёт, речь о настоящих хищниках. Я боюсь кривоклювых орлов, ястребов: птица — не самолёт, увернуться трудно, полёт её бесшумен, нападение — внезапно.

А вот журавлей я нежно люблю. Как-то я пристроился к их косоугольнику, мы вместе летели часа полтора, я даже осторожно погладил журавушку; тот ничуть не испугался, только внимательно, с пониманием, поглядел на меня.

Стать бы мне журавлём, летать бы по невидимым изгибам мезозойских материков, слетать бы и в Россию, не страшась 64-ой статьи Уголовного кодекса.

Или бы совсем человеком стать, что ли. А так — что я: ни человек, ни птица...

Господи, прости меня грешного!

Моя омега (здорово повезло: задешево купил!) показывала четверть четвёртого. По правую руку (или: по правому борту?) на горизонте возник характерный абрис Сарагоссы.

В узких улочках пахло кухней, средневековьем и рекой Эбро, — запах был не затхлым, скорее приятным; мне представилось, что я попал не в нынешнее законсервированное средневековье, а в то, всамделишное — переместился назад во времени, как контрамот. Меня это очень возбуждало и будоражило.

Как бы в подтверждение, из поперечного проулка вышел чёрный монах (не чеховский, продукт чахоточной фантазии, а настоящий). Монах приблизился ко мне вплотную — он был весьма высок, под стать мне (1 м 91 см) — и произнёс медную фразу. «Je ne comprends pas espagnol», — прокартавил я на скверном французском.

— Я вижу, вы не здешний.

— Я не здешний. Иностранец, немец, торговые дела. (К чему ему, незнакомцу, глубины моей биографии? К чему мне его расспросы о России? Первое время я откровенничал, потом остоебенило, надоело вдалбливать свою правоту западным долдонам. Куда удобнее выдавать себя за франкфуртского коммерсанта, тем более что мой немецкий язык безукоризнен, а внешность — солидна, уважаема.)

— Торговые дела? Здесь, в Сарагоссе?

Мне не понравилось его неприкрытое недоверие. Интересно, в чём он меня подозревает? (Чуть погодя я понял, в чём...)

— В Мадриде. Pas ici. Здесь проездом.

— Вы намерены заночевать в городе? Трудновато будет. В гостинице вам не устроиться, мест нет, всё забронировано: завтра конгресс демонологов, это у нас каждый декабрь. Впрочем... можно у меня. Я живу на монастырском подворье, не Бог весть что за ночлег, но всё же.

— Merci... — я запнулся, не зная, что прибавить для вежливости: отец? Брат? Поэтому я выбрал нейтральное: мосьё.

— Merci, monsieur. Très agréable.

Рыба была отборной, но вино кисловато и слабовато. Я, как правило, не пью вина: в России потреблял водку, на Западе пробавляюсь коньяком. Придётся дейст-

вовать по Гегелю, — переводя количество в качество, не впервой.

— А знаете, в конгрессе участвуют не только люди, будут и подлинные ведьмы, настоящие черти, вурдалаки. По виду они неотличимы от людей. (Ну, тут-то ты меня, святой отец, не учи, это-то мне известно. И я подумал о Ленине.) Впрочем, я различаю.

Он пристально (чересчур пристально!), впритык (слишком впритык!) посмотрел мне в лицо. В его бесцветных зрачках засветились красные точки, точно искры от инквизиторского костра. Ага, так вот за кого он меня почитает! Учужал-таки, черноризый, что я не совсем человек... Мрачная жуть окатила меня с головы до ног — подобно тягучей чёрной волне.

Мой хозяин отвернулся к окну. Ну и профиль, чистый топор! Ничего себе, пофартило с квартирой! Поди, у него и вправду топор... Впрочем, теперь чего уж. Перетерплю, авось не угробит. Берии с андроповыми — и те проморгали, куда уж этому, призраку прошлого!

— Кстати, прибывает и Вечный Жид (произнося «жид», монах нехорошо посмотрел на меня), Агасфер, ему позволена остановка — раз в году, как раз у нас в Сарагоссе. На 99 минут. Ну, пора спать, — буднично и грубовато оборвал разговор (не разговор, а свой монолог, ибо я почти что молчал, налегая на вино) распознатель дьявола.

Я, усмиряя пальцы, завёл омегу. Эта процедура вернула мне утраченную уверенность. Ах, что за хитроумный хронометр, тончайший инструмент, воистину хранитель времени! Время стремится в своё конечное ничто, ну и пусть себе стремится, — традиции швейцарских мастеров неизменны. Архангел Гавриил, прежде чем протрубить открытие Страшного Суда, наверняка сверит время по швейцарскому хронометру.

Я трижды прочёл «Отче наш», «Богородице Дево, радуйся» и «Символ веры». Монах с недобрым любопытством присматривался к странному для него православному крестному знамени и прислушивался к не менее странному церковно-славянскому речитативу. Я поблагодарил его за гостеприимство, пожелал ему доброй ночи и спокойно уснул.

Сегодня над Испанией было голубое небо. Я неторопливо летел над провинцией Арагон, возможно, уже над Каталонией, над зелёной страной. Внезапно меня накрыла тёмная тень. Я взглянул вверх: надо мной медленно двигался гигант «Джумбо», рейсовый самолёт. Ах вот как, ты вздумал обогнать *меня*?! Я резко повысил скорость и, бормоча «джумбо-юмбо, мумбо-джумбо», устремился к самолёту*. Я подлетал сбоку, опасаясь попасть в конус взрывов и пламя его могучих дюз. Я припал лицом к иллюминатору. Американская тётка в тёмных восьмиугольных очках и необъятной шляпе сосала бутылку с этикеткой «Johnny Walker». (Я вспомнил своих прежних знакомцев, алкашей с Гаврикова переулка.) Тётка была куда как не молода, — впрочем, будь она без ядовитой косметики, я дал бы ей не более 87-ми, как пушкинской пиковой графине. Сосательница виски уловила, видимо, моё пси-излучение, ибо обернулась к иллюминатору, приветливо помахала мне своим «Johnny» и озарила меня ослепительными зубами кинозвезды. Мне явно послышалось: «— How are you?!» Во даёт! — беззлобно подумал я и — поскольку уже замерзал и задыхался — оторвался от «Джумбо» и заскользил по наклонной вниз.

Теперь я это бросил: засматривать в чужие окна. В отрочестве, однако, я этим занимался частенько, заглядывал в верхние этажи. Меня очень впечатляли эротические сцены, стимулируя мастурбацию. (Онанировал я не тут же, в воздухе, — стыдился — а позже, в нужнике или под одеялом, как все.) Потом я, говорю, всё это

* Я без особых усилий перегоняю любой гражданский самолёт. Другое дело — военная авиация. Не так давно, месяцев 7-8 назад, я едва спасся от советского разведчика (он производил ночную аэрофотосъёмку дружественной державы), — и то потому, что перешёл на опасный режим свободного падения.

Что касается потолка, то в принципе он для меня не существует, ибо мне — в отличие от самолёта — не нужна воздушная подушка для подпорки. Потолок мой ограничен только угрозой выскочить из атмосферы и быть разорванным под напором собственных внутренностей — что, несомненно, случилось бы с мифическим Икаром и анекдотическим Стромфилдом, будь они подлинными!

Замечу ещё, что атмосферные вихри мне не страшны.

оставил: и чужих женщин в верхних этажах, и воображаемых в нужнике.

Я со свистом разрывал воздух над сонной Каталонией. (Свиста я, понятно, не слышал, так как опережал фронт звуковой волны.) Сам того не заметив, я оказался над Барселоной. Я решил там не приземляться, а только описать несколько спиральных витков над городом, заночевать же в Ллорет-де-мар, чуть дальше к северо-востоку. Я кружил на большой высоте, жителям я должен был казаться ничем не примечательной птицей. Я предпочитаю спускаться в населённые пункты в сумерках, ещё в дождливую непогоду, а сейчас сияло Солнце, и — хотя стояло время сиесты — на улицах, конечно же, были прохожие.

Но я и так знал этот удивительный город, его волнообразную архитектуру, криволинейные здания Антонио Гауди-и-Корнета, кривомозгового гения*.

Прибрежье было абсолютно мёртвым, как со стороны города, так и со стороны моря. От этой мертвизны в полном сиянии испанского солнца мне стало не по себе. Я вдруг ощутил всё земное время разом: иберийскую древность и ещё не рождённые тысячелетия, смыкание начала и конца, замыкание истории на самоё себя. Я увидел — да, увидел! — обе ветви гиперболической кривой, слияние двух бесконечностей, плюса с минусом.

Тут я почувствовал отчаянный голод. С предельной скоростью я полетел вдоль кривого берега.

В Ллорет-де-мар все дома — отели. Туристы давно вернулись в свои америки и германии, демонологи заседали в Сарагоссе, — я оказался единственным постояльцем в огромном стеклянном параллелепипеде гостиницы. Я тяжело поужинал и здорово наакался пивом в тутошнем «Frankfurter Eck» (тоже единственный посетитель; гордый кабльеро-официант был предельно почти-

* Гауди умер 1. 6. 1926. Барселонцы мне рассказывали, что он погиб под трамваем: его толкнул туда вроде тот самый чёрт, с которым он был связан всю жизнь.

телен к высокому курсу западногерманской марки). Жаль, что я не повидал корриды, боя-убоя быков, подумал я, рыгая. И фанданго не повидал. Впрочем, к чему мне всё это? Куда мне бой быков: я ведь и фанерного быка струсил. Фанданго тебе захотелось? А фламинго не хочешь?

Так я долго сидел в локале, рыгая и ругая себя. И вдруг, безо всякого к тому повода, решил обязательно написать правдивый отчёт о своём путешествии, эдакий очерк или поэтоочерк, что ли.

Я свободно лечу под голубым небом. Надо всей Испании голубое небо. Но я не очень ему доверяю: 17. 7. 1936 именно эти слова, переданные испанскими радиостанциями, послужили сигналом мятежному генералу Франсиско Франко-и-Бахамонде. Правда, коммунисты начисто лишены романтики, не то что покойный каудильо.

С двойственным чувством — с некоторым неодобрением, но и с некоторой благодарностью — я подумал о двусмысленном диктаторе, сделал семикратное сальто и полетел над Средиземным морем, которое — вопреки соцреалисту Максиму — совсем не смеялось. Оно было совершенно неподвижно, это декабрьское море, словно обтянуто мутно-зеленоватой синтетической тканью, покрыто плотным матовым пластиком.

Чуден Твой мир, Господи, чуден, хотя и чуток и чудён.
Я истово перекрестился и взял курс на Марсель.

*Мадрид — Франкфурт — Хофхайм,
9. 12. 80 — 13. 6. 81*

В ЭТОМ СБОРНИКЕ:

Кое-что о себе

9

А. СТИХИ ИЗ КНИГИ «ИТАК, ИТОГ»

1. Осенью 1940-го года	13
2. «Есть души, большие, как эпос»	13
3. «Трамвай выходит из депо»	14
4. Омару Хаяму, на тот свет	14
5. «Атлантида гниёт на дне»	15
6. «20-ый век — жестокая страда»	15
7. Александро-Невская лавра	16
8. Курортный пляж	16
9. В поезде	17
10. «Я тёмный трюм не набивал рабами»	17
11. «Белый свет засыпан белым снегом»	18
12. «Как будто приснился на миг»	19
13. Встреча в Сухуми	19
14. «Метель метёт»	20
15. Декабрь	21
16. «Дни мои толкутся, как на рынке — люди»	21
17. «Мне не поднять лица измятого»	21
18. Я в Тбилиси	22
19. Дым	23
20. «Быть может, скитаясь путями исканий»	23
21. Одиночество	24
22. В музее	25
23. Иней	25
24. Скелеты	26
25. Эстонские стихи	26
26. «Давно ли сгинул»	29
27. Кёнигсберг 1968	30
28. Луна над автострадой	31
29. «Таёт, тускнеет Солнце»	31
30. «Средневековая нелепица»	32
31. «Я сажу за чекушкой»	32
32. «Небо тяжкое, стопудовое»	33
33. «Не знаю, легко или трудно»	34
34. «Запах детства, запах ёлочный»	34

Б. СТИХИ ИЗ КНИГИ «ВНЕ РОССИИ»

1. «Пусть Россия черна, не бела»	39
2. Иерусалим	39
3. Париж, place Pigalle	40
4. «Я всё своё продал и пропил»	41
5. «Слипается прошлое комом»	41
6. «Звенели звёзды, листья падали»	42
7. Болото	42
8. Советские танки	43
9. Встреча в Гамбурге	44
10. В Лондоне	45
11. Кое-что о дятлах	46
12. Цирк	47
13. Станный закат	48
14. «По тёмным подвалам»	49
15. «Километры дороги, судьбы километры»	49
16. «Играют трубы в городском саду»	50
17. Кругом Франкфурт	50
18. Памяти Генриха Гейне	51
19. Связь	52
20. На Земле	52
21. Не ходите по Бергерштрассе	53
22. Немножко о конце света	54
23. «Жизнь моя, золотое безумие!»	54
24. Sic transit...	55
25. Стихи о звёздном небе	56
26. «Я сидел в пещере у огня»	56

В. ПОЭМА ИЗ КНИГИ «ИТАК, ИТОГ»

Послезавтра ничего не будет	61
-----------------------------	----

Г. ПОЭТООЧЕРКИ

Север без сияния, поэтоочерк № 1, из книги «Итак, итог»	75
Золотая планета, поэтоочерк № 4, из книги «Итак, итог»	82
Москва—Иерусалим, поэтоочерк № 6, из книги «Вне России»	89
Надо всей Испанией голубое небо, поэтоочерк № 8, из книги «Вне России»	101